

**ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ГРИГОРОВИЧ**

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ
МАЛЬЧИК (СБОРНИК)

Дмитрий Григорович

Гуттаперчевый мальчик (сборник)

«Public Domain»

Григорович Д. В.

Гуттаперчевый мальчик (сборник) / Д. В. Григорович — «Public Domain»,

Дмитрий Васильевич Григорович – русский писатель, видный представитель дворянской литературы 40-х годов девятнадцатого столетия. Его творчество высоко ценили В. Г. Белинский и Л. Н. Толстой. С таким искренним участием и с такой скорбью Григорович описывал горькую судьбу крестьянства и городской бедноты, что современники плакали над его повестями «Антон-Горемыка» и «Гуттаперчевый мальчик». Подробно и с любовью Григорович показывает крестьянский быт, немалый интерес в творчестве писателя представляет богатый этнографический материал: народные обряды, обычаи и суеверия. Содержание сборника: Деревня Антон-Горемыка Рыбаки Гуттаперчевый мальчик

Содержание

Деревня	5
I	5
II	8
III	11
IV	16
V	20
VI	25
VII	31
VIII	39
IX	42
Антон-Горемыка	47
I	47
II	51
III	59
IV	66
V	73
VI	79
VII	83
VIII	92
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Дмитрий Григорович Гуттаперчевый мальчик (сборник)

Деревня

I

*Далеко в глухой сторонюшке
Вырастала тонка белая береза,
Что тонка береза, кудревата,
Где не греет ее солнышко, ни месяц
И не частые звезды усыпают;
Только крупными дождями уливает,
Еще буйными ветрами поддувает.*

Русская народная песня

В одном богатом селении, весьма значительном по количеству земли и числу душ, в грязной, смрадной избе на скотном дворе у скотницы родилась дочь. Это обстоятельство, в сущности весьма незначительное, имело, однако, следствием то, что больная и хилая родильница, не быв в состоянии вынести мучений, а может быть, и просто от недостатка бабки (что очень часто случается в деревнях), испустила последний вздох вскоре после первого крика своей малютки.

Рождение девочки было ознаменовано бранью баб и новой скотницы, товарки умершей, деливших с свойственным им бескорыстием обношенные, дырявые пожитки ее. Ребенок, брошенный на произвол судьбы (окружающие были заняты делом более важным), без сомнения, не замедлил бы последовать за своими родителями (и, конечно, не мог бы сделать ничего лучшего), если б одно из великодушных существ, наполнявших избу, не приняло в нем участия и не сунуло ему как-то случайно попавшийся под руку рожок. Услуга пришлась очень кстати и была, можно сказать, настоящею причиною, определившею судьбу младенца, которая до того времени весьма нерешительно колыхала его между жизнью и смертью. Дележ, совершаемый по всем законам справедливости между однокашницами бывшей скотницы, не успокоил, однако, шумного их сборища; хотя тетка Фекла и уступила скотнице Домне полосатую понёву¹ покойницы за ее изношенные коты² (главную причину криков и размирья); хотя завистливая Домна перестала кричать на Голиндуху, завладевшую повязкою и чулками умершей, но наступившая тишина продолжалась недолго и была только предвестницею новой бури.

Теперь каждая из этих достойных женщин с жаром принялась защищать права свои в рассуждении того, на чью горькую долю должен достаться ребенок, как будто назло им родившийся. Но сколько ни спорили горемычные, ничего не могли решить (чувство справедливости было в них сильно), и потому положили с общего голоса предоставить все судьбе и бросить жребий – способ, как известно, решающий в деревнях всякого рода недоразумения. Жребий, в благодарность за такое доверие, не замедлил, по обыкновению, показать собою пример безукоризненного беспристрастия и справедливости: сиротка пришлась на долю скотницы, которая, не в пример другим бабам, была наделена полдюжиною собственных своих чад.

Домна (так звали новую скотницу), хотя баба норова твердого, или, лучше сказать, ничем не возмутимого, не могла, однако, вынести равнодушно определения судьбы и тут же, зная

¹ Понёва – домотканая полосатая юбка.

² Коты – старинная женская обувь.

наперед, сколько бесполезно роптать на нее, внятно проголосила, что жутко будет проклятому пострелу, невесть как несправедливо навязавшемуся ей на шею.

Маленькая Акулина (таким именем окрестили малютку) сделалась на скотном дворе с первого же дня своего существования предметом всеобщего нерасположения.

Да и какая, в самом деле, нужда была бабам знать, был ли младенец виною своей докучливости? Довольно того, что он досаждал им поминутно. «Добро бы своя была, – говорили они, – добро бы родная, а то невесть по какого лешего смотришь за нею, словно от безделья». Но хуже всего приходилось терпеть сиротке от самой скотницы. Нельзя сказать, чтоб Домна была женщина злая и жестокая, но день бывал у ней неровен: иной раз словечка поперек не скажет, что бы ни случилось; в другое время словно дурь какая найдет на нее; староста ли заругается или подерется, дело ли какое не спорится в доме – осерчает вдруг и пойдет есть и колотить сиротку. Сором таким лается на нее, что хоть вон из избы беги; все припомнит, ничего не пропустит; усопшую мать не оставит даже в покое и при каждом ударе такого наговорит дочери на покойницу, чего и вовсе не бывало.

Впрочем, необходимо сказать в оправдание Домны, что в грубом обхождении и побоях, которыми угощала она свою питомицу, скрывалась иногда весьма уважительная, добрая цель. В доказательство можно привести собственные слова ее. Однажды жена управляющего застала Домну на гумне в ту самую минуту, когда она безмилосердно тузила Акулю. «За что бьешь ты, дурища, девчонку?» – спросила жена управляющего. «Да вины-то за нею нету, матушка Ольга Тимофеевна, – ответила Домна, – а так, для будущности пригодится». Если найдутся люди, которые, по свойственному им человеколюбию или сострадательности, не захотят видеть в этом доброго намерения, а припишут нападки на сиротку частию жестокости скотницы, то смею уверить их, что даже и тогда нельзя вполне обвинять ее.

Страсть к «битью, подзатыльникам, пинкам, нахлобучникам, затрещинам» и вообще всяким подобным способам полирования крови не последняя страсть в простом человеке. Уж врожденная ли она или развилась чрез круговую поруку – бог ее ведает: вернее, что чрез круговую поруку...

В одном только можно было упрекнуть Домну, именно в излишнем пристрастии, которое уже чересчур ясно обнаружила она к собственным своим детям. Можно даже сказать, что слепая эта любовь часто заглушала в ней чувство справедливости и всякого рода добрые намерения, оправдывавшие почти всегда пинки и побои, которыми наделяла она сиротку. Случалось ли ребятам напроказить: разбить горшок или выпить втихомолку сливки – разгневанная Домна накидывалась обыкновенно на Акульку, видя в ней если не виновницу, то по крайней мере главную зачинщицу; забредет ли свинья в барский палисадник, и за свинью отвечала бедняжка. Когда муж скотницы, проживавший по оброку в соседней деревне на миткалевой фабрике, возвращался домой в нетрезвом виде (что приключалось нередко), всегда почти старалась Домна натолкнуть на него сиротку, чтоб отклонить от себя и детей своих первые порывы его дурного расположения, – словом, все, что только могло случиться неприятного в домашнем быту скотного двора, – все вызывало побои на безответную Акульку. Вне этих отношений с жителями избы сиротка проводила детство свое, как и все остальные дети села, в совершенном забвении и пренебрежении. Слово «авось» играет у нас, как известно, и поныне весьма важную роль и прикладывается русским мужиком не только к собственному его житью-бытью, но даже к житью-бытью детей его. Самый нежный отец, самая заботливая мать с невыразимою беспечностью предоставляют свое детище на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическом развитии ребенка, которое считается у них главным и в то же время единственным, ибо ни о каком другом и мысль не заходит им в голову. Не успеет еще ребенок освободиться от пелен, как уже поручают его сестре, девчонке лет четырех или пяти, которая нянчится с ним по-своему, то есть мнет и теребит его, во сколько хватает силенки, а иногда так пристукнет, что и через двадцать лет отзовется.

Мать ли плетется с коромыслом на реку стирать белье – и дочка тащится вслед за нею вместе с драгоценною своею ношею; развлеченная каким-нибудь камешком или травкою, она вдруг покидает питомца на крутом берегу или на скользком плоте... Бегут ли под вечер ребята навстречу несущемуся с поля стаду – нежная головка младенца уже непременно мелькает в резвой, шумливой толпе; когда наступает сырая, холодная осень, сколько раз бедняжка, брошенный на собственный произвол, заползает на середину улицы, покрытой топкою грязью и лужами, и платится за такое удовольствие злыми недугами и смертью! А весною, когда отец и мать, поднявшись с рассветом, уходят в далекое поле на работу и оставляют его одного-одинохонького вместе с хилою и дряхлою старушонкой-бабушкой, столько же нуждающейся в присмотре, сколько и трехлетние внучата ее, – о! тогда, выскочив из избы, несется он с воплем и криком вслед за ними, мчится во всю прыть маленьких своих ножек по взбороненной пашне, по жесткому, колючему валежнику; рубашонка его разрывается на части о пни и кустарники, а он бежит, бежит, чтоб прижаться скорее к матери... и вот сбивается запыхавшийся, усталый ребенок с дороги; он со страхом озирается кругом: всюду темень лесная, все глухо, дико; а вот уже и ночь скоро застигнет его... он мечется во все стороны и все далее и далее уходит в чащу бора, где бог весть что с ним будет... Поминутно слышишь, что там-то утонул ребенок в ушате, что тут-то забодал его бык или проехала через него отцовская телега, что сын десятилетнего отморозил себе ногу, трехлетняя внучка старостихи разрезала серпом щеку двухлетней сестре своей и тому подобное.

Конечно, крестьянская натура крепка, и если ребенок уцелеет, то к зрелому возрасту он превращается почти всегда в дюжего и плечистого парня с железным здоровьем или в свежую, красную девку, во сто крат здоровее иной барышни, с колыбели воспитанной в неге и роскоши; но ведь не всякому посчастливится уцелеть: сколько их и гибнет! сколько остается на всю жизнь уродами! Трудно найти деревню, где бы не было жертвы беспечности родителей; калеки, слепые, глухие и всякие увечные и юродивые, служащие обыкновенно предметом грубых насмешек и даже общего презрения, – в деревнях сплошь да рядом! Притом между крестьянскими детьми нередко встречаются нежные натуры, которые если и выдерживают детство, зато сохраняют во всем существе своем пагубные следы его надолго – на всю жизнь.

Обремененные наследственными недугами, больные и слабые, они считаются в родной семье за лишнюю тягость и с первых лет до того дня, когда оканчивают тихое, бездейственное поприще свое на земле в каком-нибудь темном углу избы, испытывают одно только горе, приправляемое ропотом окружающих и горьким сознанием собственной своей бесполезности.

К счастью, Акулина не принадлежала к последней категории, и Домна могла употреблять ее с пользою в многочисленных занятиях скотного двора. Едва сиротке минул седьмой год, тотчас же приставила она ее смотреть за барскими гусями и утками.

II

*Как чужие-то отец с матерью
Безжалостливы уродились:
Без огня у них сердце разгорается,
Без смолы у них гнев раскипается;
Насижусь-то я у них, бедная,
По конец стола дубового,
Нагляжусь-то я, наплачуся.*

Русская песня

Осень. На дворе холодно; частый дождь превратил улицу в грязную лужу; густой туман затянул село, и едва виднеются сквозь мутную сквознину его ветхие лачуги и обнаженные нивы. Резкий ветер раскачивает ворота и мечет по поляне с каким-то заунывным, болезненно хватающим за сердце воем груды пожелтевших листьев. Улица пуста – ни живой души. Сизый дымок, вьющийся из низеньких труб избушек, свидетельствует, что никого нет в разброде, что все хозяева дома и расправляют на горячей печке продрогшие члены. Все живущее прячется кто куда может, лишь бы укрыться от холода и ненастья. Куры и голуби приютились на своих жердочках под навесом, завернув голову под тепленькое крылышко; воробей забился в мягкое гнездо свое; даже неугомонные шавки и жучки комком свернулись под телегами. Каждому готов приют, каждому и хорошо и тепло...

Изба скотницы Домны жарко-нажарко натоплена; вся семья дома; даже теленок, которого откармливают для барского стола, привязан заботливою Домною к печке и опустился на мокрую свою солому. Двое парнишек ее, вместе с бабушкой и любимой кошкой, давно забрались на полати. Другие два шумно возятся под лавками. Дождь стучит в узкие стекла окон, ветер свищет на дворе и улице, и по временам все стихает в избе, прислушиваясь к дребезжащему, протяжному вою. Одной только Акули что-то не видно: ее послали на реку стеречь уток.

Возвращается она наконец к обеду домой. Издали виднеется ей почерневшая от воды лачуга, но сиротка не спешит укрыться от холода под теплую ее кровлю; она со страхом и смущением приближается к ней. Дело в том, что одного утенка унесло течением реки в колесо мельницы.

Между тем как подходила она к дому, на скотном дворе, как нарочно, затеялся жаркий спор между Домною и Голиндухою. Здесь дело было уже вот в чем: кто-то из ребят скотницы стянул лапоть Голиндухи, прислоненный к печке для просушки, и, привязав к нему бечевку, стал возить его по полу. Голиндуха, занимавшаяся в то время выпариванием квасной кадушки, неоднократно кричала на ребенка, приказывая ему тотчас же поставить обувь на прежнее место; ребенок не слушался и, как бы назло, начал колотить лаптем во все углы избы. Выведенная наконец из терпения баба бросила работу, отвесила озорнику добрую затрещину и, вырвав обувь, положила ее на печку.

Домна, все видевшая и еще прежде чем-то раздосадованная, не вынесла выходки Голиндухи.

– Куда лапоть-то поганый свой ставишь? – сказала она, выглянув вдруг из-за перегородки. – Места ему небось нету?.. Эка нашлась какая пряткая... словно барыня – драться еще вздумала...

– А что, невидаль, что ли, какая?.. Барские дети-то твои, что ль? Вестимо бить стану, коли балуются...

– А ну-тка, сунься...

- Тебя, небось, послушалась?..
- Ах ты, собака этакая...
- Сама съешь...
- Чтоб тебе подавиться лаптями-то...
- Эй, Домна, не доводи до греха; у тебя уста, у меня другие.
- Плевать мне... А вот только тронь еще раз Ванюшку, так посмотришь...
- Да ты, в самом-то деле, что ты тычешь мне своими ребятами-то?..
- А ты что?..
- Да...

– Побирушка проклятая!.. И мать-то твоя чужой хлеб весь век ела, да и тебя-то Христа ради кормят, да еще артачится, да туда же лезет... Ах ты, пес бездомный! Ну-ткась, сунься, тронь, тронь...

Домна и Голиндуха, с раскрасневшимися лицами, вылупившимися глазами и поднятыми кулаками, подступали уже друг к другу, когда в избу вбежала вдруг Машка, старшая дочь скотницы.

– Мамка! Мамка! – голосила девочка. – Глядь, глядь... Акулька-то одного утенка загнала... одного утенка нетути.

– Как! – вскричала иступленная Домна, мгновенно обращая свою ярость на только что вошедшую сиротку. – Ах ты, проклятая! Сталось, тебе неслюбно смотреть за ними?.. Постой, вот я те поразогрею...

И она пошла на помертвевшую от страха девочку с готовыми кулаками.

Страх, в котором держала скотница свою питомицу, часто даже исчезал в ребенке от избытка горя. Так случалось почти всякий раз, когда Домна, смягчившись после взрыва необузданной ярости, начинала ласкать и нежить собственных детей своих. Громко раздавались тогда за печуркою рыдания и всхлипывания одинокой, заброшенной девочки...

Много слез и горя стоило также Акулине новое назначение, определенное ей скотницею. Выгоняя утром гусиное стадо, проходила ли она по улице – всюду встречались веселые ребяташки, беззаботно игравшие под навесами и на дороге, всюду слышались их веселые песни, крики; одна она должна была проходить мимо, не смея присоединиться к ним и разделить общую радость. А уж как страшно-то было ей, боязливой девочке, напуганной разными дивами, проводить целые дни одной-одинешенькой, далеко от села, в каком-нибудь глухом болоте или темном лесу! В первое время она часто не могла вынести своего одиночества и, бросив тут же гусиное стадо свое, возвращалась одна на скотный двор, позабывая и побои скотницы, и все, что могло ожидать ее за такой своевольный поступок.

Кроме этого, сколько приходилось терпеть безответному ребенку в самом доме. Вернется, бывало, вместе со стадом в избу – на дворе стужа смертная, вся она окоченела от холода, – ноги едва движутся; рубашонка забрызгана сверху донизу грязью и еле-еле держится на посиневших плечах; есть хочется; чем бы скорее пообедать, закутаться да на печку, а тут как раз подвернется Домна, разгневанная каким-нибудь побочным обстоятельством, снова ушлет ее куда вздумается или, наконец, бросит ей в сердцах кусок хлеба, тогда как другие все, спустившись с полатей, располагаются вокруг стола с дымящимися щами и кашею. Забьется Акуля в любимый уголок свой у печки, между лукошками и сором, закроет личико исхудавшими пальчиками и тихо, тихо плачет.

Но прошел год, другой, и свыклась Акулька со своей тяжкою долею. Какое-то даже радостное чувство наполняло грудь девочки, когда, встав вместе с зарею, раным-рано, вооружась хворостиною, выгоняла она за околицу свое стадо. Теперь, уже не ожидая намека, спешила она убраться со своими гусями и утками в поле, лишь бы только скорее вырваться из избы. Как птичка, встрепенется она тогда; все изменялось в ней: движения делались развязнее, стан выпрямлялся, – словом, трудно было узнать в сиротке одну и ту же девочку. Робкий и

жалкий вид, так резко отличавший ее дома от прочих детей, как бы мгновенно исчезал. Бывало даже на Акулю находил в эти минуты вдруг какой-то припадок веселости, резвости.

Она особенно любила загонять свое стадо в густую осиновую рощу, находящуюся почти на самой границе земель, принадлежащих селу. Ей невыразимо легко, весело, привольно было просиживать тут с утра до вечера. Тут только запуганный, забитый ребенок чувствовал себя на свободе.

Перед нею широко стлался зеленый луг; медленно и плавно расхаживали по нем белые, как снег, гуси; селезни и пестрые утки, подвернув голову под сизое крылышко, лежали там и сям неподвижными группами. Далее сверкала река со своими обрывистыми берегами, обросшими лопухом и кустарниками, из которых местами выбивались длинные сухие стебли дикого щавеля и торчали фиолетовые верхушки колючего репейника. За рекою виднелось черное взбороненное поле; далее, вправо, местность подымалась горою. По главным ее отлогостям, изрезанным промоинами и проточинами, разрастался постепенно все выше и выше сосновый лесок; местами рыжее, высохшее дерево, вырванное с корнем весеннею водою, перекидывалось через овраг висячим мостом. Влево тянулось просторное болото; камыш, кочки и черные кустарники покрывали его на всем протяжении; по временам целые вереницы диких уток с криком поднимались из густой травы и носились над водою. Там и сям синевшая холмистая даль перемежалась снова серебристыми блестками реки.

Бесконечная сереющая даль, в которой двигались почти незаметными точками телега или спутанная лошадь, постепенно синела, синела, и, наконец, все более и более суживавшиеся планы ее сливались мутною линиею со сквознотою голубого неба.

Но природа нимало не пленяла деревенской девочки; неведомо приятное чувство, под влиянием которого находилась она, было в ней совершенно безотчетно. Случайно ли избрала она себе эту точку зрения, лучшую по всей окрестности, или инстинктивно почувствовала обаятельную ее прелесть – неизвестно; дело в том, что она постоянно просиживала тут с рассвета до зари.

Разве выводили ее из раздумья однообразное кукованье кукушки, крик иволги или коршуна, который, распластав широкие крылья свои, вдруг, откуда ни возмись, кружась и вертясь, появлялся над испуганным ее стадом. Акуля вскакивала тогда, бледное личико ее покрывалось ярким румянцем; она начинала бегать и суетиться, хмурила сердито узенькие свои брови и, размахивая по сторонам длинною хворостиною, казалось, готовилась с самоотвержением защищать слабых своих питомцев.

Наступал вечер. Поля, лощина, луг, обращенные росой и туманом в бесконечные озера, мало-помалу исчезали во мгле ночи; звезды острым своим блеском отражались в почерневшей реке, сосновый лес умолкал, наступала мертвая тишина, и Акуля снова направлялась к окoliце, следя с какою-то неребяческою грустью за стаями галок, несшихся на ночлег в теплые родные гнезда.

С возрастом, по мере того как сиротка становилась разумнее, постоянное это одиночество обратилось не только в привычку, но сделалось для нее потребностью. Оно было единственным средством, избавлявшим ее от побоев скотницы и толчков встречного и поперечного. Всеобщее отчуждение, которое испытывала она со стороны окружающих, как круглая сирота, и которое с некоторых пор как-то особенно тяготило ее, также немало способствовало подобному расположению.

III

*Вьюги зимние,
Вьюги шумные
Напевали нам
Песни чудные!
Наводили сны,
Сны волшебные,
Уносили в край
Заколдованный!*

Кольцов

Постоянное отдаление Акули от жителей скотного двора и одинокая жизнь производили на ее детство сильное влияние. Прежде еще, когда неотлучно оставалась она при людях, приластится, бывало, к тому, к другому или вымолвит ласковое слово, невзирая на толчки, которыми часто отвечали ей на ласки; теперь же едва успеет вернуться с поля, как тотчас забьется в самый темный угол, молчит, не шевельнется даже, боясь обратить на себя внимание. Каждый раз, когда достойные всякого сострадания гуси, продрогнув от холода, располагали идти восвояси, а следовательно, доставляли и сиротке случай погреться, она входила в избу с каким-то страхом, смущением, трепетом – чувствами, проявлявшимися прежде не иначе как вследствие приключавшегося с нею несчастья.

Ребенок одичал наконец до того, что раз без особенной причины целых трое суток кряду не возвращался домой со своим стадом; голод только мог вынудить его покинуть поля и рощу.

Первое зазимье и морозы возвращали, однако, волею-неволею полуодичалую сиротку на скотный двор.

В это время года, когда все, от мала до велика, не исключая даже домашних животных, столпляются вместе под одною и тою же кровлею, – она снова сближалась несколько с семейством скотницы.

Зимнюю образ жизни в избе как-то всегда собирает разбредшихся поселян воедино.

Многочисленность семьи, тесное, неудобное помещение, работа, делающаяся в эту пору более общею, домашнею, – все это, вынуждая каждого входить теснее в отношения другого, невольно сродняет их между собою.

Хотя Акуля действительно сблизилась зимою с жителями скотного двора, однако сближение это у ней было более внешнее, нежели нравственное.

Робкий и тихий нрав девочки, притом постоянно грубое обхождение, которому она подвергалась, – все это должно было отталкивать ее от задушевных с ними сношений.

Одни рассказы и каляканье, на которые год тому назад не обращала она ни малейшего внимания и которые теперь, с двенадцатилетним возрастом, как-то особенно начали возбуждать любопытство, присоединяли иногда ее к общему кругу.

В длинные зимние вечера изба скотницы Домны, как почетной гражданки села, наполнялась соседками и кумушками, заходившими покалякать о том о сем, о делах того или другого.

Усядутся, бывало, в кружок, кто на лавке, кто попросту – наземь, каждая с каким-нибудь делом, прялкою, гребнем или коклюшками³, и пойдут и пойдут точить ляды да баить про иное, бывалое время.

³ Коклюшка – палочка для плетения кружев.

Сначала все сидят молча – никто не решается перекинуться словом. В избе стихнет. Верена гудят, трещит лучина, сверчок скрипит за подполищею, или тишина прерывается плачем которого-нибудь из малолетних ребят скотницы, проснувшегося внезапно на полатах от тяжкого сновидения.

Но потом мало-помалу гости оживляются, всё в избе принимает участие в рассказах, и каждый в свою очередь старается вставить красное словцо. Даже девяностолетняя мать Домны изменяет вечно лежачему своему положению и, свесясь с печки, прислушивается одним ухом к диковинным рассказам соседок.

Чем далее, тем речи становятся бойчее и бойчее. То Кондратьевна, старуха бывалая, слышшая по деревне лекаркою и исходившая на веку своем много – в Киев на богомолье и в разные другие города, – приковывает внимание слушателей; то тетка Арина, баба также не менее прыткая и которая, как говорили ее товарки, «из семи печей хлебы едала», строчит сказку свою узорчатую; то, наконец, громкий, оглушающий хохот раздается вслед за прибаутками другой, не менее торопливой кумы. Много разных разностей говорилось на засидках у Домны. Бабий язык, как известно, и смирно лежит, а уж как пойдет вертеться, как придет ему пора, – так что твои три топора – и рубит, и колет, и лыки дерет! Примерно, хоть тетка Арина уж как начнет раздобаривать, так нагородит такого, что и ввек речи ее в забыть нейдут. Иной раз так настраивает, что все только и знают – крестятся да исподлобья на стороны поглядывают; про девок и говорить нечего: мертвецы мертвецами сидят – хоть в гроб клади! Куда мастерица была всякое диво размазать. Да вот, раз речь зашла о том, что значит в добрый час молвить, а что в худой; так она такое приплела, что сколько ни слушало народу – так вот и повскакало с лавок.

– Вот, – говорит, – бывают такие неразумные бабы из нашего брата, что за пустое корят да хаот детей своих самыми недобрыми словами, «анафема» скажут, или «провались ты», или «возьми тебя нечистый». Оно, кажется, – ничего, ан глядь – и во вред ребенку ложится такое злое слово; долго ли накликать беду!

«Так-то прилучилось у нас с Дарьей, снохою Григорья. Пришла она с поля, сердечная; устамши, что ли, была или другое что, господь ее ведает, только и завалилась она прямо на полати. Мальчишка-то у ней дома в люльке лежал; вот, как словно назло, расплакался на ту пору. Зачала Дарья унимать его. Унимала, унимала – нет, ревет себе знай; куда осерчала наша Дарья; встать, вестимо, не хочется – поясницу больно поразломило, – тут недобрый стих и найди на нее: „Непутный, говорит, возьми тебя нечистая сила“. Парнишка как будто к слову такому вдруг и затих; Дарья обрадовалась, повернулась на другой бок, подкинула под себя мужнину овчину, да и завалилась спать. И молитвы даже не сотворила она над младенцем после такого слова – уж так, верно, дрема взяла ее, сердечную.

А слово-то, видно, сказано было не в добрый час.

Спит Дарья. Вдруг стало ей что-то неладно; так вот к самому сердцу и подступает, инда в пот кинуло. Она обернулась от стены к люльке, взглянула вполглаза на ребенка, – смотрит... подполища расступилась надвое, и, отколь ни возмись, выходит большущая женщина, вся в белом закутана... вышла, да прямо к люльке, и протягивает руки к парнишке, норовит взять его...

Дарья испугалась, не зная куда и сон девался; и вскрикнуть-то ей хочется, не может, вся словно окоченела; а белая женщина все ближе да ближе протягивает руки... видит Дарья, что достала она парнишку-то, да и взяла к себе на руки...

Месяц в ту пору вышел и светит к ней в избу – словно днем, – видным-виднешенько.

Вспомнила Дарья свой великий грех; так в голове все и завозилось у ней; как взвизгнет!.. Враг его знает, как это сталося, – все сгнуло разом; Дарья вскочила с полатей да прямо к люльке; глядь – а парнишка-то лежит себе мертвешенек; головка просунута в веревку, на которой висит люлька, и ручонками-то ухватился за нее; весь посинел – зная, уж нечистая сила больно вздосадовала на Дарью да и удавила его. Вздудли лучину, – и так и смяк, и туда и сюда, и

отец-то прибежал, и все-то в доме, кто был, подскочили – нет, ничем не помогли. Как ни убивалась Дарья, да, видно, не на шутку стряхнулось на нее горе – пришлось хоронить парнишку!»

Акуля более всего напрягала внимание, когда речь заходила о том, каким образом умерла у них в селе Мавра, жена бывшего пьяницы-пономаря, – повествование, без которого не проходила ни одна засидка и которое тем более возбуждало любопытство сиротки, что сама она не раз видела пономариху в поле и встречалась прежде с нею часто на улице. Кончину Мавры объясняли следующим образом.

Однажды пономариха отправилась было за грибами в дремучий бор (которого, между прочим, вовсе и не было в селе или окрестностях). Не успела она поднять трех рыжиков, вдруг слышится ей, что кто-то перекликается между деревьями. Вот она и стала прислушиваться: все словно как будто опять стихло, лист не шелыхался. Мавра снова стала искать грибы, набрала их без малого до верху котомки да идет на дорогу, чтоб скорее к дому; ан не тут-то было. Леший и перекинись ей поперек пути... Ходила, ходила пономариха, плутала, плутала: куда ни ступит, куст да трава, а проселка-то и не видать, словно сгинул; а ауканье-то в лесу все сильнее да сильнее... Что далее было, то неведомо; а вот на другой день раным-рано, с рассветом, Гаврюшка-конторщик, возвращаясь из города с барскими письмами, видит, на самой меже белеется что-то: пень не пень, камень не камень; глядь, ан Мавра-то и лежит навзничь; и руки посинели, и тело-то все избито, и понёва разодрана... Думал, думал Гаврюшка, да делать, видно, нечего было; не оставить же так тела христианского на съедение волкам: он взвалил его на телегу, да и привез в село прямо к мужу. Мавра очнулась только к вечеру, да будто язык у нее отнялся, слова не молвит. Пономарь был в ту пору буявый, навеселе: давай выпытывать по-свойски жену. Уж он ее колотил, колотил, бил, бил куда ни попало, в голову, и в грудь, и в спину, лишь бы не мимо; Мавра все ни гугу; а на третий-то день, глядь, и душу отдала – померла, родимая; знать, уж так суждено ей было, сердечной, али сама в чем виновата была, что подпустила к себе нечистую силу. Вестимо, коли душа чиста, так и злой дух тебя не тронет.

Далее словоохотливая рассказчица распространялась обыкновенно о том, как вообще мертвецы ненавидят живых людей за то, что последние остаются на земле как бы взамен их и пользуются всеми мирскими благами и удовольствиями. Она присовокупляла, тут же в доказательство справедливости слов своих, что всем известный кузнец Дрон вскоре после смерти стал являться в селе, пугал всех, и что кума Татьяна сама, своими глазами, видела его раз за барским овином.

Акулина притаивала дыхание, и сердце ее стучало сильно-сильно, когда Кондратьевна, старая лекарка, подтверждала все это, уверяя даже, что Дрон, злобствовавший на нее еще при жизни, действительно являлся в селе, бывал у ней в избе, переходил из окна в окно, из ворот в ворота, шарил по всем углам и аккуратно выпивал у ней каждую ночь в погребке сливки. Она рассказала, что вскоре после того, как пали у нее две коровы, рыжонка и белянка, кузнец Дрон перестал таскаться по деревне, и объясняла чудо тем, что брат тогдашнего старосты, Силантий, раздосадованный, вероятно, ночными проказами кузнеца и желая вконец отвадить беду, раскопал его могилу, положил тело грешника ничком и вбил ему в спину длинный-предлинный осиновый кол.

Слушая все эти чудеса, Акуля едва от страха переводила дух; то замирало в ней сердце, то билось сильно, и не раз в вечер личико ее покрывалось холодным потом. По временам ослабевший свет лучины вдруг угасал от невнимания присутствующих, развлекаемых интересными повествованиями и рассказами, и тогда бедному ребенку казалось, что вот-вот выглядывает из-за печурки домовой, или, как называют его в простонародье, «хозяин», или всматривается в нее огненными глазами какое-то рогатое, безобразное чудовище; все в избе принимало в глазах ее страшные образы, пробуждавшие в ней дрожь. Засидки баб длились иногда за полночь. Истомленная Акуля, несмотря на возрастающее любопытство и усилия избавиться от дремоты, более и более покорялась, однако, ее влиянию; русая головка ее медленно склонялась на плечо,

глаза смыкались, и она засыпала, наконец, крепким сном. Часто слух ее как будто прояснялся, между тем как вся она оставалась в том расслабленном состоянии, похожем на летаргию, и внятно слышались ей тогда отрывистые речи гостей скотницы, долго еще за полночь толковавших о деяниях одноглазого лешего, чужого домового, моргуньи-русалки, ведьмы киевской и сестры ее муромской, бабы-яги костяной ноги и птицы-гаганы...

Все эти диковины, которые с таким любопытством выслушивала Акуля в продолжение зимы, сильно распяляли ее воображение. Но робкий нрав ребенка, притом всегдашний гнет, под влиянием которого находился он, и, вдобавок, грубые насмешки, с которыми встречены первые его попытки высказать окружающим все, что лежало на сердце, невольно заставили его хоронить в себе самом свои впечатления и не выбрасывать их наружу. Такое сосредоточивание в себе своих мыслей и ощущений, какого бы они ни были свойства, должно было развить рассудок девочки несравненно скорее, нежели бы это могло случиться при других обстоятельствах. Впрочем, в жизни сиротки являлись случаи, когда она разом высказывала все, что по целым месяцам мало-помалу накоплялось в голове ее. Это бывало не иначе, однако, как когда удавалось ей попасть в кружок людей совершенно сторонних, не принадлежащих даже к вотчине.

Калики и побирушки переходящие, заносимые иногда бог знает каким ветром в их деревню, чаще всего доставляли Акуле подобные случаи.

Когда две или три такие старушонки, преследуемые с остервенением по всей улице воем и лаем собак, останавливались перед окнами скотного двора, затягивая тощим голосом обычную свою стихирю:

Семь, семь кралеи,
Семь кесарей
Пошли, пришли поклониться
Христу-спасителю...
Подайте, отцы родные, милостинку
Во имя Христово...

Акуле уже не сиделось на месте, так ее и подмывало. Всегда почти находила она случай выбежать вон из избы. Она пряталась сначала в куриный хлев, чтоб отстранить подозрения скотницы, потом потихоньку проползала в узкое отверстие между плетнем и землею и вырывалась на свободу. Она пускалась тогда во всю прыть по задним дворам, перескакивала гряды капусты и огурцов, огибала огороды, господскую ригу и, наконец, вся впопыхах останавливалась за околицею. Тут Акуля, прислонившись к старой высокой рябине, с трепетом ожидала минуты, когда нищенки выйдут из села. Осмотревшись кругом и убедившись, что никто не следует за нею, решалась она присоединиться к ним. Тогда между каликами и Акулею завязывался разговор. Те, как водится, начинали с расспросов о том, есть ли в селе барин, строг ли с мужиками, есть ли барыня и барчонки, о том, кто староста, стар ли, молод ли он; потом мало-помалу объясняли Акуле, что вот-де они ходят из села в село, собирают хлебец да копеечки во имя Христово, заходят в монастыри, бывают далече, в Киеве и Иерусалиме, на богомолье и что, наконец, жутко приходится им иногда жить на белом свете. Акуля внимательно следила за каждым словом старушек: ей так редко удавалось слышать ласковую речь! И вот, обрадовавшись случаю, она спрашивала их и о Иерусалиме, и о городах, и о том, так ли живут там, как в селе, есть ли также церковь и будет ли она в вышину равняться с большим вязом, разросшимся вон там, далече-далече у них на погосте, и т. д. Расспросам не было конца.

Сиротка вспомнила наконец, что зашла далеко; села не было видно; побои и ругательства тотчас же мелькали в голове ее. Скрепя сердце она прощалась со своими спутницами и снова пускалась во всю прыть по дороге. Между тем сколько новых впечатлений волновали душу бедного ребенка! Как часто останавливалась она в нерешимости, сама не зная, бежать

ли ей вперед, к дому, или назад вернуться и не разлучаться более с добрыми каликами переходими... Но страх брал обыкновенно верх, и сиротка принималась снова бежать к старой рябине, осенявшей околицу села.

Трудно сказать, о чем могла думать тогда деревенская девочка, но дело, однако, в том, что при постоянном одиночестве и самозабвении рассудок ее не мог никоим образом оставаться в совершенном бездействии...

IV

*Так и рвется душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Хочет жизни другой!*

Кольцов

Муж Домны, являвшийся домой только по праздникам, неизвестно отчего оставил вдруг миткалевую фабрику, на которой работал несколько лет сряду, и переселился с своим станом к жене на скотный двор.

Обстоятельство это сильно озадачило Домну: она предвидела все хлопоты и заботы, которые упадут на нее с такою переменою.

Карп начал с того, что потребовал себе помощницу; потом, волею-неволею, должны были уступить ему чуть ли не половину избы, без того уже загроможденную корчагами, лагунами, крынками, кадками и лукошками; далее предчувствия Домны также не обманули ее: Карп на следующий же день натянулся сивухи, должно быть, припасенной им заранее, и задал таску всем, кто только попадался ему на глаза; досталось и самой хозяйке дома. А отвадить беду, избежать всех этих неприятностей не было возможности, ибо, как выражалась сама скотница, Карп не терпел ни в чем супротивности. «Ладно, – говорила она бабам, упрекавшим ее в слабости, – поди-тка, сунься перечить ему, так, кажись, только и жил; закажу другу-недругу». Домна не упала, однако, духом; она как можно скорее, чтоб только усадить мужа за работу, назначила ему помощницу. Такая завидная доля, разумеется, могла пасть не иначе как на Акулину, девку самую безответную, смирную и притом более других приученную к повиновению.

Карп был мужик крутой и несговорчивый. Некоторые барыши, получаемые им сверх оброка, и разгульная фабричная жизнь сделали из него, особенно в последнее время, горького пьяницу и еще более расположили к буйству. И трезвый-то никому добром не промолвит – лается, словно собака, а как почнет пить – так лучше беги из дому вон. Сам сознавался Карп, что бывал во хмелю куда неугомонен. Уж чего ни делали с ним: и знахаря-то призывали заговорить его против хмеля, и Кондратьевна не раз изошряла свои знания в лекарском деле, и управляющий секал Карпа, больно секал, – нет, встряхнет, бывало, Карп забубенною, непутною своей головушкой, когда окончится экзекуция, да вымолвит: «Покорно благодарю, Андрей Андреевич, что дурака учить изволите», и снова принимается за косушку. Ничто не помогало!

С первых же дней житья от него в доме не стало; заходит ли кто из соседей или соседок в избу – подымались брань, ссоры, нередко кончавшиеся даже дракой, так что вскоре никто и не стал заглядывать к скотнице. Сама она, подверженная беспрерывно буйным выходкам мужа, сделалась как-то еще сварливее, заносчивее и с большим еще остервенением взъелась на все окружающее.

Трудно выразить отчаяние горемычной сиротки; новое назначение не только лишало ее свободы, но даже неотлучно подчиняло Карпу, к которому еще сызмала чувствовала она особый страх.

Вначале старалась она всеми силами угождать ему; но усердие ее оставалось решительно незамеченным. Иногда без всякой причины (и это случалось всего чаще) приходилось терпеть; нитка ли порвется, защемит ли Карп челноком палец или просто случится повздорить ему с женою – колотит ее, благо она под рукою! Молча покорилась наконец бедная девушка горькой своей участи. Прошло несколько месяцев, и Акулина, как бы накануне своего заточения, не переставала тосковать по прежней своей беззаботной одинокой жизни. С наступлением лета

изба и ее жители становились сиротке еще нестерпимее. Все оживало вокруг нее, все как будто радовалось. Едва заблестают первые лучи солнца в окнах избы, зазолотятся свежие, подернутые росой поля и раздастся звонкое чирикание воробьев на кровле, все, от мала до велика, спешили вырваться из душной избы. Бабы шли в огороды, ребята и девки целыми ватагами отправлялись в только что опушившийся лес за первыми ягодами – одна она не смела шевельнуться с места и должна была сиднем сидеть за пряжею и шпулями. К вечеру или обеду вернутся веселые толпы на дом, наташат полную избу венков да молодых ветвей; разольется по всей избе запах свежей зелени... Сколько грусти ложилось тогда на душу сиротки, сколько тайных, никому не известных страданий теснило ее, бедную!..

Иногда удавалось Акулине вырваться под каким-нибудь предлогом на минуту из дому; не нарадуется, бывало, своему счастью, не утерпит – выбежит за ворота, и грусть как бы исчезнет, и тоска сойдет с сердца.

И вправду, хорош и упоителен божий день в ведреное, теплое лето; какое ликование во всей природе, во всем мире! Все трепещет жизнью, все проникнуто ею; каждая травка, каждое растение издает какой-то шелест, сливающийся в стройную, нежную гармонию; все, на что устремляются взоры, наполняет душу радостным, непостижимо прекрасным чувством. С жадностью вдыхала Акулина в расширяющуюся грудь свою пахучие струи воздуха, приносимые с поля; всматривалась она тогда в зеленеющий луг, забрызганный пестрыми цветами, в эту рощу, где беззаботно, счастливо даже просиживала она когда-то по целым дням, с красной утренней зарей до минуты, когда последние бледные лучи заходящего солнца исчезали за сельским погостом. Но непродолжительны были такие минуты: как раз грубый голос Карпа возвращал ее к горькой действительности. Скрепя сердце подходила она к воротам; а между тем вдалеке, по улице, с веселыми песнями и кликами неслись купаться целые рои молодых девок: все, кто только был молод из них по деревне, спешили присоединиться к веселой толпе, и одна только Акулина-сиротинка утирала слезу да спешила запереть за собою дверь тесной, душной лачуги...

Бывают случаи в жизни человека – к какому бы ни принадлежал он классу общества, – которые хотя и кажутся с первого взгляда ничтожными, не стоящими внимания, но со всем тем они часто решают судьбу его или же производят в нем сильные перевероты нравственные. Иногда так нечувствительно бывает их действие, что само лицо, на которое они стряхиваются, не замечает его.

Раз как-то (это было в самую страдную пору лета) большая часть жителей села Кузьминского отправилась в соседнюю деревню праздновать, как водится между соседями, приходский праздник. На всем скотном дворе осталась одна только Акулина. День был невыносимо зноен; душно было ей сидеть под навесами, и она вышла за ворота. Деревня словно вымерла, все было тихо, нигде живой души. Акулина перелезла через околицу и почти машинально своротила на проселок, огибавший бесконечное поле ржи, только что золотившейся от цвета. Солнце горело высоко и знойно. Пот градом катился по исхудающим щекам сиротки, а между тем она все шла да шла вперед, влекомая каким-то странным чувством. В поле, в роще, в воздухе царствовало безмолвие; ничто не шелыхалось, не отзывалось жизнью; кузнечик приутих и не трещал в тесной траве; даже гибкие длинные стебли дикого чеснока с их тучною верхушкою стояли неподвижно на окраине дороги. Густой пар подымался от земли и растений, и душно было в переливающихся струях воздуха.

Акулина миновала поле и почти незаметно очутилась близ церкви, на погосте. Вырытая свежая яма, на которую она случайно набрела, вывела ее из раздумья. Дрожь пробежала по всем членам сиротки; ей стало страшно; безотчетное чувство, которого, впрочем, никак никогда не могла она победить в себе, обдало ее холодом. Акулина бросилась бежать. Она уже была на самом почти конце кладбища и вдруг как вкопанная остановилась перед одною заросшею могилкою, едва выглядывавшею из-за плетня, ограждавшего церковь. Акулина вспомнила, что

давно, много лет назад, на Фоминой неделе, во время поминок, кто-то сказал ей, что тут погребена ее мать.

Была ли она задолго еще перед тем под влиянием грустного чувства, тяготило ли ее, более чем когда-нибудь, одиночество или была другая какая причина, но только вся жизнь, все горести, вся судьба ее прояснились, пробудились и разом отозвались в ее сердце; в эту минуту с мыслью о матери как бы впервые сознала она всю горечь тяжелой своей доли. Она долго стояла в каком-то оцепенении; слезы ручьями текли по бледным щекам ее и капали на руки, на грудь, на рубашку... Наконец горе Акулины разразилось и как бы сломило ее... болезненное рыдание вырвалось из груди; она грохнулась грудью на тощую могилку и, судорожно обхватив ее руками, осталась на ней без движения...

Вечерело. Домна вместе с ребятами и работниками возвратилась домой после соседней пирушки. Входя в избу, крайне удивлены были они, не видя Акулины, ибо ни на дворе, ни подле амбаров, ни даже под навесами ее также не встречали. Изба была пуста. Только куры, как видно, уже влетевшие давно в растворенные настежь двери, бегали по столам и лавкам. Скотница и работницы начали шарить по всем углам избы, как вдруг совершенно неожиданно услышали за печкою вздохи. Домна взгромоздилась на ушат и чуть не вскрикнула от изумления. Акулина, закутав голову овчинным тулупом и как-то сверхъестественно скомкавшись, лежала навзничь в тесном, неуклюжем углу между печкою и стеною. Это обстоятельство тем более удивило Домну, что никогда не случалось ей видеть, чтоб с сироткою было что-нибудь подобное.

Скотница подошла ближе и стала толкать ее что есть мочи. Ее старания оставались, однако, без всякого действия. Удивление присутствующих возрастало с каждою минутой. Домна, выведенная наконец из терпения, вытащила Акулину на середину пола, прислонила ее к скамье и раскутала ей голову.

– Что буркалы-то выпучила? – сказала она, принимаясь снова тормошить девку. – Столбняк нашел, что ли? Ну, чего смотришь, как шальная какая?.. Встань, говорят тебе... эх-ма! Ишь как ревет, полоумная... словно махонькая какая... право-ну... Ах ты, дура, дура!.. Вишь, как рубашку вымочила слезами-то своими глупыми... Пошла, просушись... скотина ты этакая... право-ну...

Акулина, очнувшись совершенно, вскочила с земли, закрыла лицо руками и как угорелая, качаясь из угла в угол, потащилась вон из избы.

Несколько дней спустя после этой сцены обыватели скотного двора заметили большую перемену в сиротке. «Что с ней? Эка расторопная вдруг стала! – говорили они. – Отколе прыть взялась? Словечка не вымолвит, а работает куды против прежнего – словно приохотилась к делу». Они единогласно утверждали, что впрок пошли девке побои, что наконец-то обратили они ее на путь истинный. И действительно, что-то странное произошло во всем существе Акулины.

Действия и движения ее стали обозначать более сознания и обдуманности, нежели случайности; она как бы разом обрела и силу воли, и твердость характера. Преимущества, которыми пользовались перед нею остальные жители избы и которые прежде, можно сказать, были единственным источником ее огорчений, перестали возмущать ее. Она, казалось, поняла настоящее свое положение.

Акулина заметнее стала отделяться от общего круга живших с нею людей, и одна из самых главных забот ее состояла уже в том, чтоб безукоризненным, точным исполнением работы и обязанностей отклонять от себя всякого рода отношения, которые могли бы возникнуть между ними и ею в противных обстоятельствах.

Внутреннее отчуждение, чувствуемое ею еще с детства к Домне, проявилось теперь сильнее, чем когда-нибудь: в этом, впрочем, она решительно не могла дать себе ясного отчета. Замечательны также были старания Акулины скрывать от окружающих впечатления, производимые

на нее их насмешками и оскорблениями. Когда уже чересчур переполнялось сердце горем, она старалась всегда почти скрыться из вида; затискается куда-нибудь подальше, в амбар или самую скрытную клеть, и там уже дает полную волю слезам своим. И в эти-то горькие минуты стала представляться Акулине с некоторых пор возможность иной, лучшей жизни; перед нею являлся с раздирающею сердце ясностью родной кров, родная семья и посреди всего этого мать, добрая мать, которую невыразимо сильно любила она... Грустны, грустны казались ей тогда сиротство и одиночество!

Мало-помалу бедная девка решительно перестала принимать нравственно участие во всем том, что делалось вокруг нее; происходило ли то на скотном дворе, в селе или соседстве – ей было все равно.

V

*Господин что плотник – что захочет, то и вырубит.
Русская простонародная пословица*

Прошло три года. В жизни деревенской, как известно, переворотов немного: все та же изба, то же поле из двух, много-много из трех нив; те же вечно неизменные заботы и суеты. На скотном дворе точно так же не могло произойти никаких особенных перемен. Дни и месяцы протянулись обычным своим порядком, не принося ни радостей, ни горя, за исключением разве редких, незначительных потасовок, которыми награждал Карп того или другого, когда находила на него дурь рвать лишнюю косушку с сватом или кумом. Акулина просиживала подле хозяина за станком с пряжею и мотками, а бабы по-прежнему не переставали дивиться ее грусти и неотвязчивому раздумью. Конечно, этим только и ограничивалось их участие; каждая готова была раздобаривать вдоволь, между тем как ни одна не подошла бы к сиротке, не сказала бы ей: что с тобою? о чем кручинишься? о чем тоскуешь?.. Впрочем, такое равнодушие относится собственно к работницам, лицам совершенно сторонним; что ж касается Домны – она, неведомо почему, с некоторых пор стала принимать необыкновенное участие в судьбе своей питомицы. Она беспрерывно повторяла соседкам, что Акульку пора бы и замуж, хоть бы в другое какое село отдать, что ли; что Акулька уже давно на возрасте, давно в поре и только сохнет, как порошинка.

Несмотря, однако, на всю справедливость подобных замечаний, свахи и не думали заглядывать на скотный двор, и если та или другая кумушка, исправлявшая на деревне такую должность, завертывала в избу скотницы, то это случалось не иначе как в качестве простой гостьи или соседки. Никому на ум не приходила сиротка-невеста: ее как будто не было, как будто вовсе не существовала она на свете.

И протекла бы молодость Акулины, протекла бы до конца печальная жизнь ее так же тихо, без тревожений и переворотов, если б в селе Кузьминском не случилось одного обстоятельства, разом изменившего всю судьбу ее.

Приехал барин.

Барин этот, отлучавшийся летом из Петербурга не иначе как куда-нибудь на воды, за границу, конечно, и на этот раз предпочел бы чужие края скучной своей деревне, если б управляющий, собравшись наконец с духом, не решился доложить ему о плохом состоянии финансов и вообще о постепенном уменьшении доходов с имений. Известие это, как следует, привело барина в глубокое огорчение.

Все обрушилось на управляющего. Считая доклады его чистою ложью, подозревая его в плутнях и мошенничестве (так водится обыкновенно в подобных случаях), решился он сам объездить многочисленные свои поместья, чтоб убедиться лично в их расстройстве.

Ему уже, правда, давно приходила мысль заглянуть туда хоть раз, посмотреть, все ли шло там должным порядком, да как-то все не удавалось: то, как назло, одолеют ревматизмы, и надо было покориться воле врача, предписавшего непременною поездку в Баден или Карлсбад, а оттуда в Париж, где, по словам врача, только и можно было ожидать окончательного выздоровления; то опять являлись какие-нибудь домашние обстоятельства: жена родила, или общество, в котором барин был одним из любезнейших членов, переселялось почти на все лето в Петергоф или на Каменный остров, на дачи; или же просто не случалось вдруг, ни с того ни с сего, денег у нашего барина. С кем не бывает подобных грехов в настоящее время?

Твердо решившись на этот раз пожертвовать двумя-тремя месяцами весны и лета, барин поспешил сообщить свой план молодой супруге. Та, несмотря на трогательные филантропические цели, под предлогом которых супруг старался расположить ее к скучной поездке, хотя

несравненно более симпатизировала даче на Каменном острове, однако после многих толков и нежных убеждений кончила тем, что согласилась на предложение.

Так как поездка эта все же некоторым образом была вынужденною со стороны супругов, то положено было вознаградить себя по крайней мере всем, что только могла доставить приятного сельская жизнь. На этом основании избрали они для своего местопребывания село Кузьминское, как самое богатое, привольное, живописное и притом заключающее в себе довольно комфортабельный господский дом.

Хотя рассказчик этой повести чувствует неизъяснимое наслаждение говорить о просвещенных, образованных и принадлежащих к высшему классу людей; хотя он вполне убежден, что сам читатель несравненно более интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавок еще глупыми мужиками и бабами, однако ж он перейдет скорее к последним, как лицам, составляющим – увы – главный предмет его повествования.

Он, к глубочайшему своему прискорбию, не имеет здесь достаточно времени и места, чтоб войти в подробности касательно приезда помещика, первых его действий и распоряжений; ни слова не скажет о домашнем его быте, а прямо перескочит на то место, где помещик выступает уже как действующее лицо рассказа.

Прошли целых два длинных-длинных месяца. Барин и барыня давно соскучились и думали только, как бы поскорее вырваться из Кузьминского и уехать в Петербург.

Полные таких мыслей, сидели они однажды утром на балконе перед палисадником. День был прекрасный; легкий ветерок колыхал полосатую маркизу⁴ балкона и навевал прохладу; палисадник, облитый горячими лучами полуденного солнца, блистал всею своею красотою.

Но помещик, которому пригляделись даже берега Рейна, Тироль и Италия, не обращал решительно никакого внимания на все это. Он машинально глядел на скучную, сухую местность, расстилающуюся за садом.

– Посмотри, – сказал он, наконец, жене, указывая пальцем на пыльную дорогу, – как ошибаемся мы, думая, что уж русский простолюдин непременно должен быть дюжий и здоровый: взгляни хоть вон на эту девку... вон, вон, что идет по дороге с коромыслом, еле-еле в ней душонка держится... какая худая и желтая!

– Знаешь ли, Жан, несмотря на то, она довольно интересна.

– Да, пожалуй, если хочешь... Но воля твоя... elle a l'air bien bate'⁵ Пстой, я подзову ее сюда...

– Ну, вот еще; бог с ней!

– Ничего; я ужасно люблю говорить с ними; ты не поверишь, ma bonne⁶, как люди эти бывают иногда забавны! Эй, девка! Девка! – закричал барин. – Подойди сюда!

Девка до того была занята своими ведрами, что не только не слышала голоса барина, но, казалось, даже совсем позабыла, что шла мимо господского дома.

– Эй, девка! Девка! – продолжал кричать помещик.

Она подняла голову.

Первое движение ее ясно обнаруживало намерение бросить тут же, на месте, ведра и коромысло и пуститься в бегство; но, рассудив, вероятно, что уже было поздно, ибо всего оставалось несколько шагов до балкона, где сидели господа, она поспешила отвесить низкий-пре-низкий поклон.

– Подойди сюда, милая, не бойся.

Девушка подошла с видимым страхом и смущением.

– Ты чья? – спросил барин.

⁴ Маркиза – навес из бумажной материи, защищающий от солнца.

⁵ Она имеет глупый вид (франц.).

⁶ Моя хорошая (франц.).

- Домнина... – едва внятно прошептала она.
- Кто такая Домна?
- Скотница.
- Что же, она тебе мать, что ли?
- Нет.
- А мать где?
- Померла.
- Ну, а отец-то жив?
- Помер.
- Ты, значит, круглая сирота?
- Да...
- Не бойся, – продолжал барин, – ну, чего же ты испугалась? А сколько тебе лет?
- Не знаю.
- Как тебя звать?
- Акулиной.
- Ну что же, Акулина, тебе, чай, замуж пора? Небось замуж-то хочется? А?

Акулина стояла как вкопанная и только переминала красными руками своими пестрядинную свою юбку.

– Ну, отвечай же, когда спрашивают тебя господа... Чего боишься? Говори: замуж хочешь?

Акулина не прерывала молчания.

– *Je vous avais bien dit, qu'elle'utait stupide*⁷, – произнес барин, обращаясь к жене.

– *Mais aussi vous lui faites des questions... Cette pauvre fille!*⁸ – отвечала супруга.

– Ну, ступай, – сказал он, слегка улыбнувшись, – ступай, Акулина, бог с тобою... Знаешь ли, *ma bonne amie*⁹, – продолжал он, когда сиротка скрылась из вида, – сделаем доброе дело: пристроим бедную эту девку к месту, выдадим ее замуж...

– Ах! И в самом деле! Мне давно хочется посмотреть на деревенскую свадьбу; говорят, обряд этот у них чрезвычайно оригинален...

– О, удивительно! Я непременно доставлю тебе это удовольствие и завтра же прикажу старосте навести справки...

Но на другой день, как назло, приехало к ним несколько соседей, и барин, вместо того чтоб приказать старосте навести справки о деревенских женихах, отправил его в город для закупки разных съестных припасов, провизии и шампанского.

Несколько дней прошло в пирах и охоте.

Соседи наконец разъехались.

В скором времени сам владетель села Кузьминского стал готовиться в дорогу. За всеми этими хлопотами он, конечно, не мог не забыть сиротки и, без сомнения, вернулся бы в Петербург, не вспомнив даже о намерении пристроить бедную сиротку, если б один совершенно неожиданный случай не навел его опять на прежнюю мысль. Доложили, что мужички пришли и просят позволения лично поговорить с его милостью. Барин отправился в прихожую, где крестьяне в молчании ожидали его появления.

Старый кузнец Силантий, его жена, брат и старший сын, парень превзродный, рыжий, как кумач, полинявший на солнце, вооруженные, как водится, яйцами, медом, караваем и петухом, повалились на пол, едва завидели господина.

⁷ Я вам уже говорил, что она глупа (*франц.*).

⁸ Но и вопросы же вы ей задаете... Бедная девочка! (*франц.*).

⁹ Мой добрый друг (*франц.*).

– Встаньте, встаньте! – проговорил с достоинством помещик. – Вы знаете, я этого не люблю... встаньте, говорят вам...

Семейство кузнеца медленно и как бы нехотя приподнялось с пола.

Одна жена Силантия противилась исполнить приказание и с заметным упрямством продолжала валяться по земле, так что барин вынужден был на нее наконец вскрикнуть.

– Что вам надо? – спросил помещик.

– Вот, батюшка, – начал Силантий, – не побрезгай, отец ты наш... Вы, вы отцы наши, мы ваши дети, прийми хлеб-соль.

– Какие вы глупые, право; сколько раз говорено было не носить ко мне ничего!.. Ну, куда мне все это?

– Уж так водится у нас, батюшка Иван Гаврилыч, не обидь нас, кормилец...

– Ну, ну... отдайте людям.

Вручив принесенное близ стоявшим лакеям, старый кузнец снова повалился наземь и, как бы почувствовав себя теперь облегченным от огромной тяжести, сказал гораздо развязнее и бойчее прежнего:

– К твоей милости пришли, Иван Гаврилыч.

– Что такое?

– Заставь, батюшка, за себя вечно богу молить...

– Ну, ну, ну...

– Да вот, отец ты наш... парню-то моему не то двадцатый годок пошел, не то более, так пришли просить твоей милости, не пожалуешь ли ему невесты?..

– Пускай, братец, парень твой выберет себе какую ему угодно невесту... из любка любую выбирает; я не прочь, отнюдь не прочь.

– Дело-то, батюшка Иван Гаврилыч, такое приспело, что вот что хошь делай: нет на деревне у нас ни одной девки, да и полно, и не знать, куда это подевались они... мы на тебя и надеялись, отец наш... Заставь вечно бога молить...

– Откуда же мне взять невесту, братец, когда сам ты говоришь, что их нет у нас?

– Дело знакомое; оно, вестимо, так, батюшка... Да мы чаяли, буде твоей милости загодно буде... вот в соседнем-то селе – Посыпкино... так ему кличка, – вот есть девка, добрая, куда какая... Летось еще, батюшка Иван Гаврилыч, смотрели мы ее и сваху засылали, да отец с матерью дорого больно просят... а девка знатная, спорая... Вот, батюшка, мы на ту пору и понадеялись на тебя, чаяли, буде господь бог даст, пожалуешь ты к нам, да не будет ли твоей милости... не заплатишь ли выводного за девку... а уж он, Иван Гаврилыч, куда парень гордый, на всяко дело такой, что и!.. Батюшка! Сделай божеску милость, не откажи нам...

– Постой, постой! – прервал барин. – Как же, братец, говоришь ты: нет у нас невест... постой... да я знаю одну... Эй! Кликнуть старосту.

Староста, стоявший в это время за дверью и, по обыкновению своему или, лучше сказать, по обыкновению всех старост, не пропустивший ни единого слова из того, что говорилось между мужиками и барином, не замедлил явиться в переднюю.

– Что, Демьян, есть у нас в Кузьминском невеста?

– Есть, батюшка Иван Гаврилыч.

– Где?.. В какой семье?

– Вот, сударь, примерно хошь на скотном дворе у скотницы есть работница...

– Ах, да, да! Я и забыл... как бишь ее зовут-то?

– Акулиною, сударь...

– Да, Акулина, Акулина...

Кузнец и жена его заметно смутились; барин продолжал:

– Так что же ты врешь, Силантий, а? Что ж ты приходишь меня беспокоить по пустякам!

– Помилуй, отец ты наш! – сказал Силантий; голос его дрожал и понизился целою октавою, не то что вначале, где он думал, что барин-де не смекает ничего в крестьянском деле и что, следовательно, легко будет обмишурить, надуть такого барина. – Помилуй, – продолжал он, – не обижай ты нас, кормилец. Вы... вы ведь отцы наши, мы ваши дети... батюшка Иван Гаврилыч; какая же то невеста?

– Что ж?

– Сирота, батюшка, бездомная, и девка-то совсем хвора... Опричь того, батюшка, позволь слово молвить, больно ломлива, куды ломлива! Умаешься с нею... Ни на какую работу не годна... рубахи состебать не сможет... А я-то стар стал, да и старуха моя тож... перестарились, батюшка... Вестимо, мы твои, Иван Гаврилыч, из воли твоей выступить не можем, а просим только твоей милости, не прочь ты ее моему парню.

– Ах ты, старый дуралей! – сказал барин, сердито топнув ногою. – Если уж сирота, так, по-твоему, ей и в девках оставаться, а для олуха твоего сына искать невест у соседей... Что ты мне белендрясы-то пришел плесть?.. А?.. Староста! Девка эта дурного поведения, что ли?

– Кажись, ничего не слыхать про нее на деревне... девка хорошая.

Нет сомнения, что староста жил не в ладу с кузнецом Силантием.

– Так что ж ты? А?..

– Не гневись...

– Молчать!.. Слушай, Силантий! Сейчас же, сию ж минуту сватай Акулину за твоего сына... слышишь ли?..

– Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч...

– Отправляйся же на скотный двор... Смотри, брат... да чтоб свадьбу сыграть у меня в нынешнее же воскресенье... Вот еще вздор выдумал, если сирота, так и пренебрегать ею... а?..

Старуха Силантия не выдержала. С плачем и воплем бросилась она обнимать ноги своего господина.

– Батюшка! – вопила баба. – Отец ты наш! Не губи парня-то... Девка совсем негодная, кормилец; на всей деревне просвету нам с нею не дадут, кажинный чураться нас станет; чем погрешили мы перед тобою, касатик ты наш?.. Весь свет осуду на нас положит за такую ахаверницу...

– Что ты врешь, глупая баба? Встань, встань, говорят тебе... Пошла вон... А ты, Силантий, понял мой приказ? Ну, чтоб все было исполнено, да живо, слышишь ли?

– Слушаю, батюшка Иван Гаврилыч, – отвечал кузнец, кланяясь в пояс.

– Ну, ступай же! – продолжал барин. – Ах, да! Я и забыл... Силантий!..

Кузнец вернулся в переднюю.

– Тебе говорил Петр Иванов осмотреть коляску? Там, кажется, шина лопнула.

– Сказывал, Иван Гаврилыч.

– Ну так распорядись же как можно лучше; я еду во вторник на будущей неделе... ступай!..

Когда дверь передней затворилась за кузнецом, Иван Гаврилович отправился во внутренние покои. Проходя мимо большой залы, выходящей боковым фасом на улицу, он подошел к окну. Ему пришла вдруг совершенно бессознательно мысль взглянуть на мину, которую сделает Силантий, получив от него такое неожиданное приказание касательно свадьбы сына.

Иван Гаврилович, к крайнему своему удивлению, заметил, что все члены семейства кузнеца шли, понуря голову и являя во всех своих движениях признаки величайшего неудовольствия.

– Что ты здесь делаешь, Жан? Что тебя так занимает? – сказала барыня, подкравшись к нему на цыпочках и повиснув совершенно неожиданно на шею своему мужу.

Иван Гаврилович молча указал ей на удалявшихся мужиков, покачал сначала головою и пожал плечами...

VI

*Что без ветра, что без вихоря
Вороточки отворилися.
Как въезжал на широкий двор
Свет Григорий, господин,
Свет Силантич, сударь.
Увидела Акулина-душа,
Закричала громким голосом:
«Сберегите вы, матушки, меня!
Вот идет погубитель мой!..»*

Русская песня

Быстро летит время! Не успели мужички села Кузьминского и двух раз сходить на барщину после описанной нами сцены, как глядь – уж и воскресенье наступило. В этот день, как вообще во все праздничные дни, деревня заметно оживлялась.

Только что раздались первые удары благовеста, во всех концах улицы загремели щеколды, заскрипели ворота и прикалитки, и жители забегали, засуетились.

Кто выходит из дома и, крестясь, остановился посреди улицы, на лужайке, против бадьи, с намерением выждать жену или свата; кто прямо шел к околице. Из окон беспрестанно зачали высовываться головы. «Эй! Тетка Феклуха! Погоди маненько! Пойдем вместе: дай управиться – куда те несет!..» или: «Кума, а кума! Авдотья, а Авдотья! Выжди у коноплей... ишь, только заблаговестили...» Бабы, которые позажиточнее, в высоких «кичках», обшитых блестками и позументом, с низаными подзатыльниками, в пестрых котах и ярких полосатых исподницах или, кто победнее, попросту повязав голову писаным алым платком, врозь концы, да натянув на плечи мужнин серый жупан, потянулись вдоль усадьбы, блистая на солнце, как раззолоченные пряники и коврижки. Мерно и плавно выступали за ними мужья и парни. Толпы девчонок и мальчишек неслись, как стаи воробьев, то сбиваясь в кучку, то снова разбиваясь в рассыпную, оглушая всю улицу своим визгом и криком. Пестрая ватага из женщин, мужиков и ребят тянулась за околицу движущейся узорчатой каймой, огибала бесконечное поле ржи, исчезала потом за косогором, пропадала вовсе и уже спустя немалое время появлялась, как сверкающее пятно, на белевшей вдалеке церковной паперти.

Дорога к церкви мало-помалу пустела; кое-где разве проезжала телега, наполненная приходскими мужиками, или ковыляла, подпираясь клюкою, дряхлая старушонка, с трудом поспевавшая за резвою внучкою, которой страх хотелось послушать вблизи звонкий благовест.

В селе уже давно водворился покой. Воз заезжего купца-торгаша с красным товаром, запонками, наместьями, варежками, стеклярусом, тавлинками¹⁰ со слюдою, свертками кумача, остановившийся у высокого колодца, оживлял один опустевшую улицу.

Посреди движения, произведенного в Кузьминском благовестом, оставались две только избы, которых обыватели, казалось, не хотели принимать участия в общей суматохе. Одна из таких изб принадлежала кузнецу Силантию, другая скотнице Домне. Судя по некоторым наружным признакам, как в той, так и в другой должно было происходить что-нибудь да особенное.

Невзирая на пору и время, труба в избе Силантия дымилась сильно, и в поднятых окнах блистала широким пламенем жарко топившаяся печь. Кроме того, на подоконниках появля-

¹⁰ Тавлинка – берестяная табакерка.

лись беспрестанно доски, униженные ватрушками, гибанцами¹¹, пирогами, или выставлялись горшки и золоченые липовые чашки с киселем, саламатой¹², холодничком и кашею.

Вторая изба хотя не представляла ничего подобного, однако тишина (как известно, весьма не свойственная мирному этому крову) могла служить ясным доказательством, что и у Домны дело также шло не обычным порядком.

И действительно, то, что происходило в избе скотницы, отнюдь не принадлежало к числу сцен обыденных.

Толпа баб, разных кумушек, теток, золовок и своячениц, окружала Акулину. Сиротка сидела на лавочке посереде избы, с повязкою на голове, в новой белой рубашке, в новых котках, и разливалась-плакала. Собравшиеся вокруг бабы, казалось, истощили все свое красноречие, чтоб утешить ее.

– Не плачь, – говорила какая-то краснощекая старуха, – ну, о чем плакать-то? Слезами не поможешь... знать, уж господу богу так угодно... Да и то грех сказать: Григорий парень ловкий, о чем кручинишься? Девка ты добрая, обижать тебя ему незачем, а коли по случай горе прикатит, коли жустрить начнет... так и тут что?.. Бог видит, кто кого обидит...

– Вестимо, бог до греха не допустит, – перебила Домна. – Полно тебе, Акулька, рюмить-то; приставь голову к плечам. И вправду Савельевна слово молвила, за что, за какую надобу мужу есть тебя, коли ты по добру с ним жить станешь?.. Не люб он тебе? Не по сердцу пришелся небось?.. Да ведь, глупая, неразумная девка! вспомни-ка, ведь ни отца, ни матери-то нет у тебя, ведь сирота ты бездомная, и добро еще барин вступился за тебя, а то бы весь век свой в девках промаячилась. Полно... полно же тебе...

– Эх, бабы, бабы! – подхватила третья, не прерывавшая еще ни разу молчания. – Ну, что вы ее словами-то закидываете?.. Нешто она разве не знала замужнего житья? Хоть на тебя небось, Домна, было ей время наглядеться, а ты же еще и уговариваешь ее... Эх! Знамая песня: чужую беду руками разведу, а к своей так ума не приложу... век с мужем-то изжить не поле перейти... она, чай, сама это ведает...

– А разве всем быть таким, как твой Борис? Небось не за доброго человека она идет, что ли?.. Григорий забубенный разве какой парень?.. Полно же, Акулька! В семью идешь ты богатую... У Силантия-то в доме всякого жита по лопате... чего рюмишься?.. Коли уж быть тебе за Григорьем, так ступай; что вой, что не вой – все одно.

– И то правда, – подхватила какая-то близ стоявшая кума, – вестимо, полно грустить... Не надсаживай, Акулина, своего здоровьица некрепкого по-пустому... брось кручину; авось бог милостив...

Но все эти увещания, в сущности способные убедить каждого здравомыслящего человека, что-то плохо действовали на Акулину.

Она была безутешна.

«Эка, право, девка-то чудная какая! – думали бабы. – Как узнала ономясь, что велено замуж идти, так ничего, слезинки не выронила, словно еще обрадовалась; да и все-то остальные дни, бог ее ведает, нимало не кручинилась. Уж на что Домна, кажись, не больно ее жалует, а третья дня, как запели девки песни да зачали расплетать ей косу, так и та благим матом завыла, да и всех-то нас нешто слеза прошибла, а ей одной нипочем – словно, право, каменное сердце у человека тогда было. Ну, думали, обрадовалась больно, сердечная, ан не тут-то было: вот теперь, в самый-то день свадьбы, отколь и горе привалило... ревет, и не уймешь еще... что бы за притча, примерно, такая?..»

Бабы решительно становились в тупик: им невдомек было поведение Акулины. Недоумение кумушек возрастало, главное, оттого, что горе невесты последовало внезапно после

¹¹ Гибанцы – крендели.

¹² Саламата – мучная каша.

нескольких дней, проведенных ею с самым невозмутимым равнодушием. Дело в том, что ни одна из них не замечала – конечно, и не могла заметить – тех тонких признаков душевной скорби, того немого отчаяния (единственных выражений истинного горя), которые, между прочим, сильно обозначались во все то время в каждой черте лица, в каждом движении сиротки.

Известие о разговоре барина с мужиками повергло ее в такое отчаяние, что, если б не надежда переменить дело, не выходить замуж, она кончила бы, без сомнения, чем-нибудь трагическим.

Надежда, вкравшись раз в душу Акулины, укрепила ее. Она ждала только удобного случая, чтоб броситься к ногам барина. Полная уверенности в том, что он не откажет ей своею милостью, она принялась караулить Ивана Гавриловича.

Но странно, необъяснимо странно было, что каждый раз, как показывался барин, ее охватывала такая робость, такой страх овладевал всем существом ее, что она не смела даже шевельнуться, боясь обратить на себя его внимание.

Необходимо здесь заметить, что чувство это было в ней совершенно бессознательно, ибо Иван Гаврилович был, как уже известно, человек добрый, благонамеренный и отнюдь не давал своим подчиненным повода трепетать в его присутствии. Приписать опять чувство это врожденной робости Акулины, тому, что она была загнана, забита и запугана, или «идее», которую составляют себе о власти вообще все люди, редко находящиеся с нею в соприкосновении и по тому самому присваивающие ей какое-то чересчур страшное значение, – было бы здесь неуместно, ибо отчаяние бедной девки могло не только победить в ней пустые эти страхи, но легко даже могло вызвать ее на дело несравненно более смелое и отважное. А между тем, где бы ни встретилась Акулина с барином, решимость в ту ж минуту ее покидала; затаив дыхание, дрожа как осиновый лист, пропускала она его мимо, дав себе слово в следующий же раз без обиняков броситься в ноги к нему и прямо рассказать, в чем дело. Но много раз на день являлись такие случаи, и тысячу раз результат выходил один и тот же; мало того, в решительную минуту Акулина мирилась даже с горькою своею долею.

А барин тем временем шел себе спокойно, слегка покуривая сигару, беспечно поглядывая на стороны и не подозревая даже, чтоб за соседним плетнем или обвалившеюся перегородкою могло происходить что-либо подобное.

Надежда не покидала, однако, Акулину; еще накануне своей свадьбы всю ночь провела она на коленях, умоляя святых угодников защитить ее, укрепить ее духом. Но, как на беду, в воскресенье утром Иван Гаврилович ни разу не вышел из хором, и Акулина, выжидавшая его за сараем, могла только видеть, как коляска помчала его вместе с барынею по дороге в церковь.

Тут, ввиду исчезнувшей надежды, гибели неминуемой и неизбежной, почувствовала она, что не в силах бороться долее с своим горем; сердце ее перестало биться, глаза подернулись темною пеленою, и, как подрубленная молодая береза, покатила бедная на землю.

Случайно натолкнулась на нее баба; ее принесли в избу, привели в чувство и, как мы видели, немало заботились успокоить. Мало-помалу бабы начали достигать своей цели; невеста уже несколько поддавалась на их красноречивые убеждения, как вдруг крики: «Едут! Едут!», раздавшиеся со всех концов избы, снова испортили все дело.

Пока Домна (посажена мать сиротки), соседки и кумушки суетились вокруг невесты, ворота с надворья скрипнули, и на дворе послышался шум, говор и звук бубенчиков, свидетельствовавшие о приезде жениха.

Вскоре Пахомка (старший сын скотницы и дружка невесты) появился на пороге; за ним, крестясь и кланяясь, вошли по порядку жених, его отец, мать, дружка и родственники. Все они казались не слишком-то радостными; один дружка жениха скалил зубы, подмигивал близ стоявшим бабам да весело встряхивал курчавую своею головою.

После обычных приветствий как с той, так и с другой стороны Григория и Акулину поставили на колени на разостланный дружками на полу зипун. Домна взяла тогда образ и подошла к ним; начался обряд благословения.

Акулина как бы успокоилась, и только судорожно стиснутые губы и смертная бледность лица свидетельствовали, что не все еще стихло в груди ее; но потом, когда дружка невесты произнес: «Отцы, батюшки, мамки, мамушки и все добрые соседушки, благословите молодого нашего отрока в путь-дорогу, в чистое поле, в зеленые луга, под восточную сторону, под красное солнце, под светлый месяц, под часты звезды, к божьему храму, к колокольному звону», и особенно после того, как присутствующие ответили: «Бог благословит!», все как бы разом окончательно в ней замерло и захолонуло. Она машинально, с отсутствием всякого чувства и мысли, влезла в повозку и уселась подле жениха своего.

Поезд тронулся.

Обедня только что кончилась, когда свадебные повозки остановились перед церковью. Иван Гаврилович, его супруга и еще кой-какие помещики того же прихода стояли на паперти.

Первые, как жители столицы, с заметным любопытством ожидали начала брачной церемонии добрых мужичков.

Так как невеста была круглая сирота, то, по принятому обыкновению в подобных случаях, ей следовало еще отправиться до венца на кладбище, чтобы помолиться над могилою родителей, или, как выражаются в простонародье, «поплакать голосом».

Едва начался обряд венчанья, как супруга Ивана Гавриловича почувствовала уже тоску и сильный позыв к зевоте; крестьянская свадьба, заинтересовавшая ее дня три тому назад, казалась ей весьма скучным удовольствием; невеста была глупа и выглядывала настоящим уродом, жених и того хуже – словом, она изъявила желание как можно скорее ехать домой. Иван Гаврилович, разделявший с женою одни и те же мысли, не замедлил сесть в коляску, пригласив наперед к себе некоторых из соседей.

Вскоре все обыватели Кузьминского вернулись домой, и улица села снова загремела и оживилась.

Мужики Ивана Гавриловича были народ исправный, молодцы в работе и не ленивцы; но греха таить нечего, любили попить в денечек господень. Приволье было на то большое: в пяти верстах находился уездный город **... да что в пяти! в двух всего дядя Кирила такой держал кабак, что не нужно даже было и уездного города для их благополучия. Уж зато как настанет праздник, так просто любо смотреть: крик, потасовки, пляс, песни, ну, словом, такая гульня пойдет по всей улице, что без малого верст на десять слышно.

Но на этот раз, – конечно, говоря относительно, – во всей деревне не было такого раздолья, как в одной избе кузнеца Силантия; немудрено: сыновей женить ведь не бог знает сколько раз в жизни прилучится, а у Силантия, как ведомо, всего-то был один. Несмотря на то что старику больно не по нраву приходилась невеста, однако он, по-видимому, не хотел из-за нее ударить лицом в грязь и свадьбу решил сыграть на славу.

И то сказать, угощение затеялось лихое! Что душе угодно, всего было вдоволь. Василиса и Дарья – сестры кузнеца, старые девки, и старуха его только и делали, что таскали из печи на стол разные яства: мисы щей, киселя горохового, киселя овсяного, холодничка и каши, большущие чашки, наполненные доверху пирогами с морковью, пирогами с кашею, ватрушками пресными и сдобными и всякими другими, поочередно появлялись перед многочисленными гостями. О напитках и говорить нечего: штофики с сивухой, настойками, более или менее подслащенными медом, погуливали из рук в руки без устали; что же касается до сусла и браги, они просто стояли в больших ведрах близ каждого стола, гостю стоило только нагнуться, чтоб черпать. Силантий, казалось, совсем распоясался и чествовал гостей своих не на шутку. Много оставались довольны и гости; отовсюду неслись крики и приветствия радушному хозяину. Мало-помалу и сам он расходился.

Он сидел, обнявшись с кумом Иваном и сватом Гаврилою, и беспрестанно подносил им то из одного штофика, то из другого.

– Сват Гаврило! Еще стаканчик, ну, чего отнекиваешься?.. Пей!

– Так и быть, – отвечал сват Гаврило, глаза которого уже казались плавающими в масле, – так и быть, обижу свою душу, согрешу, выпью...

– Кум, а кум! Без опаски пей, чего боишься?..

– Спасибо те на ласковом слове, Силантий Васильевич, много довольны без того... много благодарствуем...

– Молодая!.. Что же ты!.. – кричал Силантий, обращаясь к Акулине, которая молча и неподвижно сидела на месте и, несмотря на увещания соседок, не выпивала своего стакана. – Эй! Гришка! Что ж! Оба словно пни сидите... Сноха! Что не пьешь?.. Аль оглохла?.. Экие дурни!.. Да поцелуйтесь же... небось при людях-то не любо... Тетка Арина, еще винца... милости просим, не побрезгай... Дядя Пахом! Во здравие молодым!.. Кум Иван... ты... ты... ведь брат мне родной... ну, и пей!.. Левон Трифоновч! А ты что прикорнул? Небось, неси в ворота, где ус да борода!.. Кума! Домна Карповна, дай тебе господь бог много лет здравствовать и деткам твоим всяческа благополучия от царя небесного... Да... Эй! Во саду ли в огороде... эй, братцы!.. Ну!..

Гам, чавканье, стук ложек, неистовые крики подымались все сильнее да сильнее; вскоре послышались они не только в сенях, но даже на дворе, под корытами и колодами, куда успели забраться, неизвестно каким образом, некоторые из гостей Силантия.

Как ни весело было, однако пирушке должен же быть конец. Уж вечерело, когда стали расходиться. Кто, придерживаясь к плетню, побрел к себе домой; кто помощью рук и ног соседей и своих собственных карабкался вон, сам не зная куда; кто присоединился к общей массе народа, толкавшейся с песнями перед барскими хоромами.

Силантий, молодые и домашние его последовали примеру последних. Тут веселье было уже совсем другого рода.

У самого палисадника вертелись хороводы, словно немазаные колеса какие, с их несвязною и нескончаемою песнью; в другом месте толпа окружала молодого парня, который, по желанию Ивана Гавриловича, выплясывал с бабой трепака. Заломив высокую свою шапку в три деньги, запрокинув голову, выделял он с самою серьезною миною свои па, между тем как господские люди разносили обступившим его подносы с штофами пенника и ломтиками хлеба; ребятишки и девчонки бегали кругом балкона и с визгом кидались наземь каждый раз, как барин или барыня бросали в них пригоршню жемков и орехов. Старики и старухи также имели свою долю в общем веселье: они стояли у решетки и тешились, глядя на забаву.

Разгулявшиеся гости Силантия еще более оживили толпу; окружили молодых, втискали их силою в хоровод – и пошла потеха еще лучше прежней. Иван Гаврилович и супруга его казались на этот раз очень довольными; они спустились с балкона и подошли к хороводу.

– Что же она у тебя невесела, Силантий?.. – сказал Иван Гаврилович, указывая ему на Акулину.

– А вот, вишь ты, отец наш... она... молодая... а вот парень-то мой... Вы ведь отцы наши, мы ваши дети... батюшка Иван Гаврилыч... много благодарны... Вот те, ей-ей, много благодарны... не погневись ты на нас, мы ведь слуги твои...

– Ну, хорошо, хорошо, – прибавил барин, видя, что Силантий едва держится на ногах, – хорошо, ступай...

Долго продолжалось в этот день веселье в селе Кузьминском. Уж давно село солнце, уже давно полночь наступила, на небе одни лишь звездочки меж собою переглядывались да месяц, словно красная девка, смотрел во все глаза, – а все еще не умолкали песни и треньканье бала-лайки, и долго-долго потом, после того как все уж стихло и смолкло, не переставали еще кое-

где мелькать в окнах огоньки, свидетельствовавшие, что хозяикам немало стоило труда уложить мужей, вернувшихся со свадебной пирушки кузнеца Силантия.

VII

*Ах, раскройся, мать сыра земля,
Поглоти меня, несчастную!..*

Русская песня

Еще солнышко вихра не думало выставлять, как уже Григорий, муж Акулины, выбрался из каморы, куда накануне положили его с женою, и ушел в поле. Само собою разумеется, что такое усердие не могло проявиться в нем без особенной причины; он наверняка об эту пору думал поймать соседей, взявших с некоторого времени повадку пускать лошадей своих на его гречиху и овес. «Добро, – молвил он, украдкой приближаясь к своим нивам, – добро! Вы, чай, мыслите: бабится Григорий с женою да лыка не вяжет со вчерашнего похмелья? Погодите-тка, дружки! Я вам покажу свата Кузьму... Недаром с весны скалю зубы-то... постой...» Но Григорий, должно быть, нес чистую напраслину на соседей своих, ибо сколько ни обходил поля, сколько ни высматривал его, нигде не было заметно ни истоптанного места, ни даже следа конского или человеческого: овес и гречиха были невредимы. Бодро, словно ратники в строю, торчали мощные их стебли; один только ветер, потянувший к рассвету, бугрил и колыхал злачные их верхушки. «Ишь, лешие! – сказал он, оглянув еще раз поле. – Как барин-то здесь, так небось и дорогу узнали... по чужому, знать, не шляндаете... не то что прежде... Ах, кабы попался кто из вас, мошенников... во, как бы оттащали!.. да еще и к барину бы свел...» Ободрив себя такими мыслями, Григорий повернулся спиною к полю и отправился по меже к проселку. Ступив на проселок, он остановился, поглазел направо и налево, почесал затылок, потом оба бока и спину. «А что? – подумал он. – Ведь вот коли все прямо по дороге идти, так, вестимо, оно будет дальше... в полях-то, чай, еще никого нет!.. Э!..»

Григорий махнул рукой и без дальних рассуждений пошел отхватывать по соседней ржи. Уж начали было мелькать перед ним верхушки ветл, ограждавших барский сад, мелькнула вдалеке и колокольня, как вдруг рожь в стороне заколыхалась, и, отколе ни возьмись, глянула сначала одна шапка, потом другая и третья; не успел Григорий присесть наземь, как уже увидел себя окруженного тремя мужиками.

– Э-ге-ге!.. Так это, брат, ты? – вскричал самый дюжий из них, в котором Григорий узнал дядю Сысою. – Так вот оно как! Нет, знай, не отбоярись... не пушайте его, ребята...

Петруха Бездомный и Федос Простоволосый пододвинулись.

– Что, словно черти, обступили?.. Что надо?..

– Небось чужое-то не свое – не жаль...

– Да ты чего лезешь?.. Нешто твое?

– А то чье же?..

– Ну, твое так твое... и черт с тобою!..

– Вот мы те покажем черта...

– А что ты мне покажешь?..

– Да... а помнишь, как летось батька твой поймал на своих горохах мою кобылу да слупил целковый-рубль?.. Этого ты не помнишь?

– А что мне помнить?..

– То-то, воронье пугало! Теперь и тебе не уйти...

– Да чего те надо? Леший!

– Э, брат! Ты еще куражишься... Хватай его, ребята!..

Мужики бросились на Григорья; тот, парень азартный, изворотливый, видя, что дело дошло до кулаков, мигом вывернулся, засучил рукав, и дядя Сысой не успел отскочить, как уже получил затрещину и облился кровью.

– А! Так вяжи ж его, ребята! Вяжи его, разбойника! – закричали что было мочи мужики, уж не на шутку принимаясь комкать Григорья. Тут сила перемогла его: дядя Сысой, Федос и Петруха связали его кушаками, не потеряв даже на этот раз малейшего ущерба, разве только что гречиха первого была решительно вся вымята во время возни, – а она ведь все же чего-нибудь да стояла, ибо у Сысои, его жены и детей всего-то было засеяно ею полнивы.

– Тащи его, братцы, прямо к барину, тащи!.. – кричал дядя Сысой, размазывая себе, как бы невзначай, скулы кровью и, вероятно, желая тем произвести большой эффект перед баринком. – Там те покажут, собаке, как драться... тащи... тащи!..

– Что, взял? – говорил Петруха Бездомный. – Не хотел по добру ладить... вот те бока-то вылушат... погоди.

– А! Мошенник! – продолжал дядя Сысой, не забывая мазнуть себя по носу. – Я ж покажу!.. Разбойник! Тащи... тащи, ребята... тащи его!..

– Что, брат Гришка, – подхватывал Петруха, – якшаться с нами небось не хотел: и такие, мол, и сякие, и на свадьбу не звал... гнушаться, знать, только твое дело; а вот ведь прикрутили же мы тебя... Погоди-тка! Барин за это небось спасибо не скажет: там, брат, как раз угостят из двух поленцев яичницей... спину-то растрафаретят...

– А что, дядя Сысой, – молвил Федос, – вестимо, чай, жутко ему будет?.. Так выпарят... и!.. и!.. и!.. Господи упаси!..

Рассуждая таким образом, мужики заметно придвинулись к околице; тут Григорий, не показавший во все время смущения или робости, стал вдруг крепиться и упираться ногами. Дядя Сысой, заметив это, перемигнулся с Петрухой и, как бы почувствовав прилив вдохновения, произнес:

– Стой, ребята! Стой!.. Гришка! Вот те Христос, отдерут, не на живот, а на смерть отдерут... Слушай! Ну... хошь аль не хошь?

– Ну что?.. Ну, хочу...

– Братцы! Уговор лучше денег, – продолжал тем же восторженным тоном дядя Сысой, – бог с ним... обидел он меня... уж вот как обидел... ну да плевать... выпустим его...

– Выпустите, братцы! Ну, за что вы меня тащите? Выпустите! Ей-богу, скажу спасибо...

– Э-ге!.. Даром кафтан-то у те сер, а ум-то, верно, не лукавый съел... ишь чего! А ты думаешь, спасибо, да и отбойрился?

– Чего ж вам еще?..

– Что больно дешево?.. Нет... ты, брат, вот что... Ну, да что с тобою толковать! Давай целковый!

– А отколе возьму его?..

– Не хошь?.. Тащи его, ребята, тащи!..

– Гришка, полно тебе артачиться! – сказал Петруха. – Хуже будет, шкурою ведь заплатишь... вот те Христос, такого срама нахлебаешься, что и!..

– Толком говорят тебе, откуда мне взять его?.. Ну...

– Врешь, чертов сын! У вас с бачкой денег много... недаром всю деревню вчерась угощали... Ну, хошь, что ли, говори?

– Ей-богу, дядя Сысой, провалиться мне сквозь землю, если есть такие деньги...

– Э! Ну, черт с тобой! Давай полтинник.

– Да нету, тебе, чай, говорят!

– Нету?.. Ну так тащи его, ребята... тащи, тащи, тащи!..

– Погодите... дядя Сысой... стойте... дайте вымолвить слово... пять алтын, по-моему, бери!

– Эк, ловок больно! Нет, этим обиды, брат, не вышибешь... Тащи его, знай, ребята, тащи...

– Ну, двугривенный... Вот как бог свят, больше нет ни полушки!..

– Ребята! – крикнул снова дядя Сысой. – Была не была! Возьмем с него двугривенный да магарычи в придачу... Идет, что ли?

– Отсохни руки и ноги, если у меня есть больше, – всего двугривенный...

– О! Еще скалдырничает... Так ты не хочешь?

– Не замай его, дядя Сысой, сам напоследях спокается...

– Вестимо! – вымолвил Федос.

– Черт же бы вас подрал! – сказал Григорий. – Ну, развязывай руки-то, что ль...

– Двугривенник и магарычи – слышишь?

– Ну, слышу!

– Идет?

– Ну, идет!

– Развязывай его, ребята! Давно бы так: кобениться еще вздумал... эх, жила, жила!..

– Да куда мы пойдём-то?..

– Вестимо, куда! Река, чай, не больно далече...

– К свату Кириле, что ли?

– А то куда же? Сегодня, кажись, еще базар...

– И то, ребята...

– Ступайте, братцы! – сказал Федос.

– А ты что?

– Я не пойду...

– Да куда те приспичило, на барщину разве гонят, черт?

– Свой пар, дядя Сысой, не пахан стоит...

– А у одного тебя не пахан он, что ли? Простоит ведро, спахаешь...

– Вестимо, простоит ведро; давно ли был дождь?..

– Полно, кум, пойдём!

– Идемте, что ли?

– Идемте...

– Погодите, куда вас несет?

– А что?

– Обогнуть, чай, надо дорогу...

– А пес велит нам идти по ней?.. – сказал дядя Сысой.

– А то как же?

– Что тут долго болтать... вот так всё прямо и пойдём... полем, как раз на реку выйдем...

– Э! Поле! А рожь, не видишь?

– Э! Рожь... Что, ребята, чего стали?

– Оно, вестимо, короче, дядя Сысой, полем-то, чай, выйдешь на забродное...

– Ну так что?

– А овсы господские...

– Овсы господские! А какой леший увидит нас? День, что ли? Ишь, только светает. И много помнем мы небось овсов-то господских... Да ну, ступайте, что ли!

– Пойдемте, братцы!

– Пойдемте!..

И все четверо свернули с дороги.

Дядя Сысой не ошибся; избранная им дорога сокращала путь по крайней мере целыми десятью минутами, что, впрочем, в ожидании магарыча не было безделицей. Вскоре путники наши миновали барский овес, расстилавшийся за ним ельник и вышли на берег.

Солнце только что показалось из-за темных гор, ограждавших противоположную сторону реки; ровная, тихая, как золотое зеркало, сверкала она в крутых берегах, покрытых еще тенью, и разве где-где мелькали по ней, словно зазубрины, рыбацьи лодки, слегка окаймленные

огненными искрами восхода. Песчаный берег, по которому ступали мужички, незаметным, ровным почти склоном погружался в воду. Внизу, у самой подошвы его, возвышалась серая высокая изба, обнесенная с одной стороны плетнем, с другой сушившимся бреднем. На дощатой, заплесневевшей кровле этого здания возносился длинный шест с пучком соломы и елка, столь знакомая жителям Кузьминского и вообще всему околотку. Кругом по песку валялись без всякого порядка обручи и торчали порошние бочки, брошенные, вероятно, хозяином для просушки.

Несмотря на раннюю пору, перед крыльчком здания уже толкалось немало народа, и товарищам дяди Сысой надо было выждать, прежде нежели войти под гостеприимный кров.

Тут стояли мужики с возами, мельники из соседних деревень с мукою и рожью, высывались кое-где даже бабы; виден был и купчик с своею бородкою и коновал с своими блестящими на ременном поясе доспехами, но более всех бросался в глаза долговязый рыжий пономарь с его широкою шапкою, забрызганною восковыми крапинами, который, взгромоздившись, бог весть для чего, на высокий воз свой, выглядывал оттуда настоящею каланчою.

На пороге кабака находился сам хозяин; это был дюжий, жирный мужчина с черною, как смоль, бородою и волосами, одетый в красную рубаху с синими ластовицами и в широкие плисовые шаровары. Он беспрерывно заговаривал с тем или другим, а иногда просто, подмигнув кому-нибудь в толпе, покрикивал: «Эй, парень! А что ж хлебнуть-то? Ась?.. Э-ге-ге, брат! Да ты, как я вижу, алтынник!»

Григорий, дядя Сысой и другие вошли наконец в кабак и, не снимая шапок, как это принято в таких местах, уселись рядышком в углу на лавке. Внутренность избы не представляла ничего особенно нового и замечательного. Тот же порядок, как и во всех кабаках, усеивающих большие и малые дороги, пристани, базарные сходки и приречья обширной России. Те же закопченные сосновые бревна, та же печь исполинского размера с полатами и выступами. В одном углу – бочка с прицепленным к краю ковшом, в другом – конторка, устроенная из досок, положенных на козла; на ней штофы, полуштофы, косушки и стаканы, расположенные шеренгами с необыкновенною симметриею, как-то странно бросающеюся в глаза посреди окружающего хлама и беспорядка. У самых дверей на лавке пыхтел и шипел неуклюжий самовар (сват Кирила также держал чай и закуску); подле него подымалась целая груда позеленевших, поистертых сухарей и баранок; далее тянулся косвенный, наподобие бюро, прилавок, покрытый чашками, мисками и блюдами с разною потребою для крестьянского брюха.

На безлюдье нельзя было жаловаться; мало того, что изба была полным-полнешенька, в дверях беспрестанно появлялись новые лица, так что сам Кирила едва поспевал управляться.

– Маюкончику на гривенничек – трое пьют! – кричал мельник, вводя двух мужиков, купивших у него муки.

– Эй, дядя Кирила, давай перемену!

– Аль рыбу-то поснедали? Что больно скоро?

– Мальй, косушку!

– Эй, целовальник, а целовальник! или Максим, что ли, как те звать! – полуштоф на одного – вот и деньги...

Но Кириле не в диковинку были такие хлопоты; он не упускал даже случая перекинуться словом то с тем, то с другим из гостей своих.

– Эй, Ванюха! Что рыло-то не мочишь?.. Полно тебе глазеть по сторонам-то; спрости – дадут... чего прикорнул?

– Да что, брат, денег нету.

– Ой ли? Аль все пропил?

– Пропил не пропил, а был грех!..

– Давно ли? Вот то-то оно и вышло: мужик простоволос год не пьет, два не пьет, а как бес прорвет, так и все пропьет!

– Эй, Трифон, опохмелиться, чай, надо – чего зеваешь? Коли алтын не хватает, так муки, чай, привез?

– И то привез.

– Ну, давай ее сюда! Что будешь делать? Надо уважить кума... тащи!

– Да ты сколько даешь?

– Вестимо, ни твоей, ни своей души обижать не стану.

– А сколько?

– Ты пуд, а я косушку.

– Э! Косушку! Что, больно тороват?

– Ну, не одну, так две.

– Давай!

– Э! ге, ге, ге!.. Дорофей, а Дорофей! Что, брат, приуныл? Аль кручина какая запала?

– Да что, брат Кирила! Беда прилучилась, за свою же кобылу приплатился.

– Как так?

– А вот как: увели у меня на прошлой неделе кобылу.

– Не гнедую ли?

– Нет, саврасую. Я и туда и сюда – и след простыл, что ты будешь делать?.. Захожу к свату Ивану, а тот и надоумил меня: «Ступай, говорит, в Пурлово – знаешь Пурлово?» – говорит он мне – это сват-то Иван говорит. Знаю, говорю, Пурлово, как не знать! «Ну, так коли знаешь, так ступай, отыщи там Онисима-коновала; я знаю, – говорит сват Иван, – это его ребята балуют». Что ты станешь делать? Беда, да и только; взял красную, прихожу. «Ну, что?» – говорит. Да вот, мол, кобыла саврасая пропала; так не поможешь ли беде? «Как не помочь, говорит, ступай в осинник на завалишинский выгон, знаешь завалишинский выгон?» Знаю, говорю. «Ну, когда так, так и кобылу свою найдешь: она там траву, вишь, щиплет». Отдал деньги, прихожу: и вправду стоит моя кобыла!.. Так вот какая прилучилась беда – красную ни за что ни про что отдал.

– О, брат! Добро еще красную, видали и больше; счастлив, что дешево отбоярился.

– Такая, право, беда! Хорошо, что деньги были, а то просто и кобылу поминай как звали... право-ну!

– Что, деньги, брат, не боги, дядя Дорофей, да, видно, много милуют.

Каляканье не мешало, однако, нашим мужичкам пропускать чарку за чаркою; вскоре почувствовали они сами, что уже сильно нагрузились. Всего страннее в этом деле было то, что мирный и тихий Федос проявил такую прыть и смелость, что многих трудов стоило Григорию и Сысою удержать его, чтоб он не вцепился в бороду долговязому пономарю, к которому получил он, ни с того ни с сего, непреодолимую ненависть. Наконец кое-как уgomонили они его и уложили под навесом подле Петрухи, давно заснувшего сном богатырским. Расплатившись как следует, наши приятели (я говорю: приятели, ибо дядя Сысой и Григорий шли теперь, обнявшись крепко-накрепко, и не переставали лобызать друг друга в ус и бороду) вышли из кабака и, как ни покачивались на стороны, благополучно достигли дороги. Неизвестно, о чем толковали они; разумеется, много было всяких сердечных излияний как с той, так и с другой стороны. Дядя Сысой и Григорий пойдут-пойдут, да и останются – останются да обнимутся. «Во как люблю, Гриша!.. Ей-бо... право...» – «Больно ты мне полюбился, дядя Сысой... Во... те... Христ...» – и опять продолжают путь тем же порядком.

Но счастье скоротечно; вскоре очутились они посреди улицы и волею-неволею должны были расстаться.

Нередко попадают дни в жизни человека, которые как бы исключительно пользуются правом наделять его неприятностями и неудачами. Точно такой же день, должно быть, пал на долю Григорью, ибо не успел он отворить ворота, как уже неприятно был поражен криком и бранью, раздававшимися у него в доме. Григорий остановился, обер рукавом пот, капавший

с лица, и стал прислушиваться; так! голосили Дарья и Василиса, но на кого? – бог их ведает! – Он поднялся по шаткому крылечку, выходявшему на двор, и вступил в избу. Василиса и Дарья стояли, каждая по концам стола, с поднятыми кулаками; перед ними близ окна сидела Акулина; она, казалось, не старалась скрывать своего горя и, закрыв лицо руками, рыдала на всю избу... Слезы ручьями струились между сухощавыми, грязными ее пальцами. Зрителем этой сцены была старуха, мать Григория; свесив с печи седую голову, как-то бессмысленно глядела она на все, происходившее перед ее глазами.

– Чего горланите?.. Что еще? Ну?.. – закричал Григорий, бросая с сердцем кушак и шапку наземь.

– Да то же, что вот навязал нам на старости лет дьявола... Поди-тка сам теперь и ломайся с ним! – отвечала Василиса, указывая костлявою своею рукою на Акулину.

– Да, – подхватила Дарья, вся дрожа от злобы, – небось и руки-то понадсодишь – сунься только...

– Покою не дает, проклятая, – продолжала Василиса, – воеет, знай, себе на всю избу. Послали было за хворостиной печь истопить, прошляндала без малого все утро... велели хлебы замесить – куды те!.. Ничего не смыслит – голосит себе, да еще: пойду, говорит, к барину...

Василисе и Дарье, по известным причинам, более, нежели остальной родне, ненавистна была женитьба Григория; тетки, как видно из слов их, решились даже прибегать в иных случаях к клевете, чтоб только навлекать на Акулину гнев мужа, парня, как ведали они, крутого и буйного.

– Да, – подхватила Дарья, приступая к племяннику, – к барину, говорит, пойду... он, говорит...

Но Григорию и этого было довольно; он оттолкнул тетку и подошел к жене.

– Что, окаянная? – произнес хмельной Григорий, страшно поваживая очами. – Что? Артачиться еще вздумала, а?

– Да, как бы не так! – голосила Василиса. – Много возьмешь словами.

– Вестимо, что ей даешь потачку... разве не видишь, она с умыслом воеет? Думает: услышит...

– Э! Толковать еще тут! – бормотал сквозь зубы Григорий, хватая Акулину за волосы и повергая ее одним движением руки на пол.

– Вот так-то! – сказала Дарья. – Да здесь не замай ее, Гриша; стащи лучше в сени... неравно еще горшки побьешь...

Бешенство, казалось, обуяло Григория; тут все разом завозилось в голове его: и неволя, с которою он женился, и посторонние неприятности, и хмель, происшествие утра, – кровь путала его; сначала долго возил он бедную женщину взад и вперед по избе, сам не замечая, что беспрерывно стучался по углам и прилавкам, и, наконец, потащил ее вон...

– Эй, черти! – послышалось тогда в сеничках. – Чего расходились? Эй! Григорий, Гришка, а Гришка! – произнес тем же голосом седой как лунь мужик, входя в избу. – Э-э-э!.. Эхва! Как рано пошло размирье-то! Вчера свадьбу играли, а сегодня, глядишь, и побои... эхва!.. Что?.. Аль балует?.. Пестуй, пестуй ее, пусть-де знает мужа; оно добро...

– Чего, леший, надо?.. Проваливай, проваливай... черт, дьявол, собака!..

Это обстоятельство, казалось, еще больше остервенило Григория, и бог знает, что могло бы случиться с Акулиною, если б в ту самую минуту не раздалось в дверях звонкого хохота и вслед за тем не явился бы на пороге Никанор Никанорович, барский ловчий.

Василиса и Дарья мгновенно исчезли за печуркою; Григорий тотчас же выпрямился, стряхнулся и подошел к нему.

– Добро здравствовать, Никанор Никанорыч, – произнес он, – зачем пожаловали?

– Ох!.. Дай, брат, Христа ради, душеньку отвести... О!.. О!.. Ай да молодые!.. Чем бы целоваться, а они лупят друг друга. Эх вы, простой народец!.. Хе, хе, хе...

– Балуется больно, Никанор Никанорыч.

– И куда, кормилец ты наш, ломлива! И не ведает господь, что за баба такая... – сказала Василиса, показывая голову из своей прятки.

– Ну, ну... ну, а я вот что: барин вас зачем-то спрашивает... Эй, тетка!.. Вынь-ка крыночку молочка – смерть хочется... Не могу сказать зачем, а только приказал кликнуть вместе с женою... Что ж ты, тетка, коли молока нет, так простокваши давай – не скупись... ну!

Григорий бросился сломя голову вон из избы; тетка не замедлила последовать его примеру.

Пока почетный гражданин барской дворни хлебал простоквашу, в каморе и в сенях происходила страшная суматоха.

– Зачем это барин-то кличет?

– Что такое прилучилось?..

– Эх, нелегкая его дергает!..

– А вот что: хочет, видно, на молодых поглядеть...

– Что, что?.. Ну, ты... рожу-то всплесни водой...

– Рубаху-то новую вынь. Долго, что ли, чертова дочь, возиться станешь?.. У! Как пойду...

– Гриша, я чай, полотенце надо для поклона?..

– Давай, тетка Дарья... хошь свое давай... Ишь, леший! Ничего не принес!..

– Вот ты покажи у меня только вид какой, только поморщись... я с те живой тогда сдеру шкуру...

– Все, что ли?

– Кажись, все...

– Ну, ступай!

Григорий и Акулина вышли из ворот и вскоре очутились в барской передней.

– Поздравляю вас! – сказал Иван Гаврилович, подходя к молодым вместе с женою. – Поздравляю! Смотрите же, живите ладно, согласно, не ссорьтесь.

– Mon Dieu, qu'elle a e'air malheureuse!..¹³ – сказала барыня.

– Comment! Vous ne saviez pas que chez eux la jeune mariée doit pleurer pendant une semaine? Mais c'est de rigueur...¹⁴

– Вот, возьмите, – продолжал он, подавая Григорию беленькую бумажку, – это вам жалует барыня... Мирно у меня жить, дружно... Ты во всем слушайся мужа своего... работай... Ну – бог с вами, ступайте.

Дорогою молодые повстречались с Никанором Никаноровичем.

– Зачем барин-то звал?

– Да вот пожаловал, вишь, денег...

– Покажи... Ах ты, черт этакий!.. Вашему, знать, брату мужику только и счастье... Нам небось никогда не перепадает... Э! Поди тут разбери: иной и службой не выслужит, а то другой шуткой вышутит... А что, брат Григорий, ведь угостить надо, ей-богу, надо... Погоди, мы придем sprysnut'.

– Приходите.

– Сегодня и придем... а?..

– Ну, хоть сегодня... а что?

– Да завтра, чем свет, мы уезжаем в Питер с барином; так тут не до того... Смотри же, жди нас...

– Добро...

¹³ Боже мой, какой несчастной она выглядит!.. (франц.)

¹⁴ Как! Вы не знаете, что у них молодая новобрачная должна плакать в течение недели? Но это обязательно... (франц.)

Утро и полдень протекли тихо и смирно в избе Григория, и если б не визит Никанора Никаноровича и еще двух лакеев, которые подняли ввечеру изрядную суматоху, можно было бы сказать, что водворившаяся так внезапно тишина не прерывалась ни разу и в остальную часть дня.

VIII

*Тяжелей горы,
Темней полночи
Легла на сердце
Дума черная!*

Кольцов

Но семейство Силантия не могло прожить долее одного дня в ладу и согласии; знать уж под такую непокойною звездою родились почтенные члены, его составлявшие. С следующею же зарею пошли опять свалки да перепалки. Нечего и говорить, что Акулина была главным их предложением. Трогательные убеждения Ивана Гавриловича при последнем свидании его с Григорием, казалось, произвели на последнего то же действие, что к стене горох, – ни более ни менее.

Но прежде, нежели приступлю к дальнейшему описанию житья-бытья горемычной моей героини, не мешаю короче ознакомить читателя с новой ее роднею. Это будет недолго; она состоит всего-навсего из четырех главных лиц: Дарьи, Василисы, старухи, жены Силантия, и Григория. Первые две уже некоторым образом известны читателю из первой главы; прибавить нечего, разве то, что они считались еще с самых незапамятных времен ехиднейшими девками околотка.

Мать Григория была не менее их несносна, в другом только отношении. Брюзгливая, хворая, она никому не давала покоя своими жалобами, слезами и беспрестанным хныканьем; старуха вечно представляла из себя какую-то несчастную, обиженную и не переставала плакаться на судьбу свою, хотя не имела к тому никакого повода. Она постоянно проводила время лежа на печке; изменяла своему положению, залезая иногда в самую печку, когда уж невмочь подступало к пояснице. В этом да в оханье состояла вся деятельность ее жизни. «Хоть бы прибрал ее господь... ну ее... всем тягость только; провались она совсем...» – говаривали частенько тетки; но господь, видно, их не слушал: старуха жила, наполняя по-прежнему дом жалобами и канюченьем.

Силантия незачем присчитывать к семье; подобно большей части крестьян Ивана Гавриловича, он работал по оброку и являлся домой из Озерок, деревни в тридцати верстах от Кузьминского, не иначе как только в большие праздники или же в дни торжественные, как то: свадьбы, мирские сходки, крестины и тому подобное. Остается, значит, сказать несколько слов о его сыне.

Григорий принадлежал сполна к числу тех молодцов, которых в простонародье именуют «забубёнными головушками». Статься может, он не удостоился бы такого прозвища, если б судьбе угодно было наделить Силантия не одним детищем, а целою дюжиною.

Сызмала еще во всем давали ему потачку. Залезал ли Гришка в соседний огород, травил ли кошек, топил ли собак (утехи, к которым с первых лет обнаруживал он большую склонность) – все сходило ему с рук, как с гуся вода. «Что с него взять? – говорил Силантий. – Малехонек еще, ничего не смыслит; побалуется, побалуется, да и перестанет...» Если случилось соседу поймать парнишку в какой-нибудь проказе и постегать его, Силантий тотчас же заводил с соседом ссору, брань, часто оканчивавшуюся дракой, не помышляя даже о том, происходило ли то в глазах озорника сына. «Скинь-ка шапку да постучи-ка себя в голову-то, не пуста ль она, – твердили Силантию, – что ты его добру-то не наставишь?.. Пес ли в нем будет, коли таким вырастет». – «А тебе что? – отвечал обыкновенно кузнец. – Знай своих; про то мое дело ведать, будет ли в нем прок; небось, не хуже твоих выйдет». Шаловливость молодого парня могла бы, конечно, пройти с летами и не возбудить в нем более дурных наклонностей,

если б к зрелому возрасту не доконала его окончательно фабричная жизнь. В больших деревнях и селах Средней России, наделенной, как известно, не слишком-то плодородною почвою, мужики искони занимаются ткачеством. Занятие это дает им возможность заменять иногда с лихвою недоимки хлеба и частые неурожаи.

Силантий, как оброчный крестьянин, а следовательно, наблюдавший только за собственными своими барышами, почел выгоднейшим отослать сына в соседнюю деревню на фабрику, а для обработки тощей, плохо удобренной земли своей нанял батрака.

Нет сомнения, что Григорию было гораздо привольнее щелкать челноком в теплой, просторной избе, посреди многочисленного общества таких же, как и он, лихих ребят, чем тащиться в зной и дождь за тяжелою сохою. Дело, однако, в том, что пролетные эти головушки развили в нем окончательно дурные семена, посеянные еще смолоду. Вскоре Григорий не замедлил отличиться в разных проделках, стоивших ему не раз прогулок к становому и управляющему. Одна из таких проделок достойна даже особенного замечания. Раз как-то Григорий и другой фабричный повстречались на дороге с огородником, везшим на базар арбузы. Огородник спал мертвецки на своем возу. Молодцам приглянулся такой случай истинною находкою. Они смекнули поживу и недолго затрундялись, как спроворить дело. Григорий мигом очутился под возом с ножом в руках и принялся прорезывать отверстие в лубочном дне телеги. Проползши таким образом на карачках с версту, он благополучно довершил зачатое предприятие. По мере того как арбузы сыпались один за другим, товарищ Григория скатывал их в небольшую лощинку, огибавшую дорогу. Бедный огородник, должно быть, хлебнул лишнее, ибо спал так крепко, что доехал до базара, не заметив пропажи. Между тем молодцы успели притащить из села телегу, навьючить на нее добычу и тронуться в путь. Они не откладывали дел своих в долгий ящик и потому решили немедленно ехать на базар, не сообразив в первом пылу удачи, что такая поспешность могла как раз накликасть им беду. Так и случилось. Григорий наткнулся на мужичков Кузьминского; пошли толки, намеки, пересуды; каждому казался товар подозрительным. В Кузьминском не было огородов. Тут, как на беду, пронеслись слухи, что обокрали на дороге огородника; вскоре сам он явился налицо. Тотчас и сведали дело. Молодцов схватили, скрутили по рукам и по ногам и повели к заседателю, присутствующему на базаре для наблюдения порядка; заседатель, отпотчевав, как водится, добрым порядком, отправил их к становому. Неведомо, что произошло у последнего; достоверно только то, что из рук его так же трудно выпутаться, как из рук первого. Пришлось поплатиться спиною.

Ко всем дурным наклонностям, которыми так щедро снабдила Григория фабричная жизнь, она поселила в нем еще расположение к ерофеичу – средству, без которого никак не обходится простолюдин, успевший уже нащупать в сапогах своих лишние гроши. Словом, Григорий был изрядным негодяем, когда отец вызвал его на пашню. Не понаторевшись смолоду в трудностях полевых работ, быв притом лентяем по натуре, Григорий вышел никуда не годным мужиком. «Непокой пашне, коли мужик оставил шашни», – говорит пословица; и действительно, вместо пользы принес он в дом одно размирье, ибо только и делал, что ссорился да ругался с матерью и тетками.

Акулина, переступив из дома скотницы Домны в семью кузнеца, попала, как говорится, из огня да в полымя. Есть люди, которым как бы предназначено судьбою целую жизнь мыкать горе. Мы уже видели, что бедная женщина сильно не приходилась по нраву новой родне своей; неволя, с какою попала она замуж за Григория, имевшего в виду другую, богатую, «здоровенную» бабу, была одною из главных причин всеобщей к ней ненависти. А ведь стоит только запасть в душу человека невежественного предубеждению, стоит только раз напитаться ей злобою – и уже ничем, никакими доводами и убеждениями, никакими силами не вытеребишь их оттуда. И сострадательность и всякое другое побуждение пошло тогда к черту: все черствеет в ней и притупляется; овладевшее ею раз чувство как бы все более и более укрепляется и, укрепляясь, глушит в ней остальное. Первый день замужества Акулины, казалось, вполне выразил

всю ее жизнь, все, что ожидало ее в будущем. Хотя такие побыты¹⁵ и доходили до соседей, но никто, однако, не обнаруживал явного к ней участия; каждый из них был проникнут убеждением, что, правда, худо бабе у мужа, а как без мужа, так и того было бы хуже. Зато вся деревня единодушно далась диву, когда пронесся слух, что Акулина, вместо того чтоб умереть родами (чего ожидали соседки, ведавшие домашнее житье-бытье ее), родила Григорию дочку, да еще, как рассказывал пономарь, такую крепенькую, что сам батюшка на крестинах немало нахвалился.

Если уж младенец так приглянулся попу и пономарю, то чем же должен был он казаться бедной матери? Акулина как бы ожила; что-то похожее даже на радость мелькнуло в глазах, знавших прежде одни только слезы, и на печальном лице ее показалась небывалая дотоле улыбка. Она не обращала уже теперь никакого внимания на оскорбления Василисы и Дарьи; ей нипочем были и побои Григорья и распри всего семейства. Все, что вложено было в ней чувства, все сосредоточивалось на милом ее младенце, – далее она ничего не видела, ко всему казалась равнодушною, бесчувственною. Но это-то равнодушие и запропастило вконец голову бедной бабы. Григорий не мог сносить его. Он приходил в бешенство, видя, что слова и побои не действовали более на робкую и покорную жену; словом, жизнь Акулины стала еще хуже прежней.

Встречаются иногда люди с характером кротким и нежным в такой степени, что существование их кажется как-то неполным, неопределенным, вряд ли способным даже проявиться без подпоры или влияния другого, более мощного и твердого характера. Им не чужды самые сильные страсти, порывы самые пламенные и энергические; но все это закрыто в них под непроницаемую пеленою какой-то робости и застенчивости, которая мешает им выказываться наружу и только глушит их. Оба эти чувства у иных так сильны, что ни воспитание, ни положение в обществе, ни даже самое общество не в состоянии их исторгнуть. Жизнь такого рода людей может пройти, невзирая ни на какие обстоятельства, так же тихо и спокойно, как песок стеклянных часов. Все способен вынести и претерпеть такой человек; терпение и смирение кажутся его уделом, его назначением.

Но являются случаи, где то же самое робкое существо, по-видимому, лишенное воли и силы, проявляет вдруг твердость воли, какую одарены только редкие, на диво сплоченные натуры. Так бывает, когда доведут до предела вложенные ему в душу кротость и терпение. Все силы, тратившиеся понемногу на пути жизни, оставшись в нем непочатыми, нетронутыми, как бы заодно пробуждаются тогда и восстают всею своею массою.

Акулине пришлось невмочь терпеть долее. Видя, что ни покорность, ни труды, ни смирение – ничто не действовало, она решилась идти наперекор не только мужу, но даже всей родне своей, перед которой незадолго еще так трепетала. Заметив, что злоба их усилилась от равнодушия, с каким старалась она выносить ее, Акулина употребила все свое старание, чтоб казаться еще спокойнее и равнодушнее. Мало того: она дала себе клятвенное обещание хранить молчание со всеми домашними и никогда, ни в каком случае, хотя бы такая решимость могла стоить ей жизни, не произносить перед ними ни единого слова. Она как бы вдруг онемела.

¹⁵ Побыты – слухи.

IX

*Ах, не жаль-то мне роду, племена,
Не жаль-то мне родимой
сторонюшки:
Мне жаль-то малое дитяtko;
Останется дитяtko малешенько,
Малешенько дитяtko, глупешенько.
Натерпится холода и голода.*

Русская песня

*Ах ты, гнутое деревцо, черемушка,
Куда клонисься, туда склонисься!*

То же

Прошло четыре года...

Кому бы случилось видеть Акулину прежде, в первые дни ее замужества, тот, конечно, нашел бы в ней по прошествии этих четырех лет большую перемену. Иной вряд ли даже мог бы узнать ее. Она казалась состарившеюся целыми десятью годами. Оставалась только сухая, отцветшая кожа да страшно выглядывавшие кости. Бледное лицо, изнуренное тяжкою жизнью и безвременьем, покрылось морщинами; скулы сильно выступили под мутными, впалыми глазами, и вообще по всей физиономии проскальзывала какая-то ноющая, неотразимая грусть, виднелось что-то столь печальное и унылое, что нельзя почти было отыскать в ней и тени былого. Поступь ее стала медленна; идучи, она беспрерывно останавливалась, прикладывая тощую свою руку к груди, и вслед за тем слышался тяжелый, жестокий, долго не прерывавшийся кашель. Она видимо чахла.

С некоторых пор чаще стали посылать Акулину на реку, выбирая для этого, как бы невзначай, сырую и ненастную погоду; заметно сваливались на нее самые трудные и утомительные хозяйственные работы; при всем том Василиса и Дарья не упускали случая раззадоривать Григория разными побытами, зная наперед, что злоба его неминуемо должна была вымещаться на плечах безответной Акулины. Последнее обстоятельство было тем менее затруднительно для теток, что Григорий, выпивавший прежде стакан-другой без всякого позыва, так только, ради компанства, успел в эти четыре года уже свыкнуться, сдружиться окончательно с ерофеичем – пил мертвую и частехонько бывал пьян как стелька. Утешительная сторона всего этого была по крайней мере та, что старания теток оказались бесполезными. Акулина занемогла не на шутку. В первое время вряд ли даже предстояла ей надежда отделаться от смерти.

Рассказывать обстоятельно все то, что претерпела она в продолжение болезни, по-моему, лишнее: читателю и без того легко смекнуть, каково ей было лежать в душной каморе под неумолимым надзором и ухаживанием Василисы и Дарьи.

Неизвестно как, откуда и чрез какие добродетельные уста, но только состояние Акулины вскоре дошло до слуха жены управляющего. К счастью, последняя была женщина добрая, простая; она поспешила к ней на помощь.

Следствием ли лекарственных разных снадобий, которыми поили больную, или просто помогла сама натура, но Акулине стало, однако, гораздо легче. Мало-помалу она начала даже поправляться, к несказанной досаде домашних, желавших ей от всей души царствия небес-

ного и иной, лучшей жизни. Им ведомо было более, нежели кому другому, все, что терпела горемыка на белом свете. Сострадательность их не замедлила вскоре обнаружиться в полной своей силе. Распространяться не стану, ограничусь описанием одного случая, который выразит нетерпеливость теток наделить племянницу лучшей долей, в чем, как увидит читатель, они вполне успели.

Акулина не одумалась еще после болезни и находилась в том неопределенном состоянии, когда сам врач не может решить: жизнь или смерть сулит судьба пациенту. Она едва передвигала ноги.

Осень, или, как выражаются в простонародье, листопад приближался на пегой своей кобыле к концу. Деревья обнажились. Местами по улице и дворам сверкала гололедица; воздух становился сух и холоден.

В такой-то день, после обеденного времени, к Григорью явился староста. По очереди следовало кому-нибудь из домашних его идти досушивать чечевицу, – ибо подступила пора сеять.

В выборе затруднялись недолго; что думать: Акулина и так провалялась целых два месяца; к тому же Василиса и Дарья формально объявили, что им недосуг, что и без того работают за всех и не пойдут – приходи хоть сам управляющий. Перекорять теткам было дело мудреное, притом отнюдь не касалось старосты: ему все одно, тот ли, другой ли, – был бы исполнен наказ, а там пусть себе трещат бабы сколько им взгодно; в домашние дразги никому входить не приходится.

Акулина молча поплелась вон из избы вместе с маленькою своею Дунькою. Никогда, ни в каком случае не разлучалась с нею Акулина. Сам ребенок, казалось, искал этого: где только ни встречалась мать, там уж непременно виднелась и дочка. Стояла ли стужа, шел ли дождь, пекло ли солнце – всюду тащилась девчонка, цепляясь то с той, то с другой стороны за понёву матери. Итак, взяв Дуньку за руку (она не в силах еще была поднять ее на руки, как имела обыкновение), Акулина вступила на просторный двор и уселась перед циновками, на которых сушилась чечевица.

Но не в добрый, знать, час вышла хозяйка Григория. Началось с того, что она упустила из вида курицу, забежавшую на одну из циновок, и управляющий, проходивший в то время мимо, загнул ей крепкое словцо; потом стряхнулось на нее и другое горе: она почувствовала вдруг, что не может шевельнуться, ибо все члены и особенно ноги тряслись, как в лихорадке, от прохватившей их насквозь стужи.

Акулина поспешила закутать в дырявый жупан Дуньку и посадить ее так, чтобы не застудился младенец; сама же кой-как свернула ноги под понёву да прикуталась в сорочку: другого одеяния на ней не было (она никогда не имела кожуха или тепленького овчинного тулупчика). И то даже, в чем вышла она, глядело как-то непригоже: всюду, и на спине и на плечах, виднелись прорехи, которые то и дело ощеливали кость да посиневшее от холода тело.

Уверившись еще раз в том, что Дуньку не прошибала дрожь, Акулина принялась глядеть на двор.

Но печальная картина расстилалась перед нею.

Дощатый забор, ограждавший почти весь двор, местами покривился набок, местами совсем повалился и выказывал то поблекший кустарник, то потемневшие купы полыни с отщавшими стеблями и верхушками; с одной стороны тянулся непрерывный ряд сизых, однообразных амбаров и конюшен с высокими кровлями, осененными круглыми окнами, из которых торчало хлопьями серое дикое сено. Далее возносились над забором скирды убранного хлеба, покрытые бледною соломой; между ровными их рядами виднелась речка, какого-то синего, мутного цвета, за нею стлалось неоглядное, словно пустырь, поле; на нем ни сохи, ни птицы – чернела одна только гладко взбороненная почва. Остальную часть двора занимали барский сад и палисадник с выглядывавшими из-за них бельведерами и крышами флигелей. Листья с

дерев осыпались и темными грудями лежали в аллеях и близ ограды. Кое-где мелькала разве березка с сохранившеюся на ней зеленью, казавшеюся издалека как бы забрызганной золотистою, рыжеватою охрою. Сучья, стволы растений, кровли и все окрестные предметы как-то резко, бойко вырезывались на бледном, почти белом небе, что придавало картине вид холодный и суровый. Воздух был неподвижен, сух и прохватывал члены нестерпимым ознобом.

Время от времени раздумье Акулины прерывалось проходящими мимо конюхом или дворовою бабою; застывшая земля издавала какой-то металлический звук под их стопами; и далеко отдавались шаги в опустевшем пространстве. Иной раз она поднимала голову и смотрела пристально в ясное, бледное небо; там, в беспредельной высоте, проносились к востоку длинные вереницы диких журавлей и жалобным, чуть внятным криком своим возмущали на миг безжизненность, всюду царствовавшую. Неведомо, какие мысли занимали тогда Акулину; сердце не лукошко, не прошибешь окошко, говорит русская пословица. Она недвижно сидела на своем месте, по временам вздрагивала, тяжело-тяжело покашливала да поглядывала на свою дочку – и только... Впрочем, из этого следует, что бабе было холодно, что болела у нее слабая грудь, а наконец и то, что ее беспокоило состояние собственного ребенка – чувство весьма обыкновенное, понятное каждому.

Раздумье Акулины было внезапно прервано чьим-то знакомым голосом; она обернулась.

Перед нею стояла жена управляющего.

– Как! Акулина! – сказала она с заметным удивлением. – Зачем ты здесь?.. Ведь я же говорила твоим, чтоб не выпускать тебя раньше трех недель... Как это можно!.. Кто послал тебя?..

– Староста...

– Староста! Ах он, бездельник!.. Да чего же смотрели твои-то?.. А? Мужа разве не было дома?..

Акулина молчала.

Жена управляющего повторила вопрос.

Акулина не прерывала молчания.

– Разве ты чувствуешь себя лучше?.. Ну, что? Где теперь болит?

– Тут... все тут, – произнесла хрипло Акулина, прикладывая окоченевшие пальцы к тощей, посиневшей груди своей; вслед за тем послышался, длинный, прерывистый кашель.

– Ай, ай!.. Нет, нет, сиди-ка дома. Как это можно! – говорила жена управляющего, глядя на Акулину пристально и с каким-то жалостным выражением в лице. – А, да какая у тебя тут хорошенькая девочка! – продолжала она, указывая на Дуньку и думая тем развеселить больную. – Она, кажись, дочка тебе?.. То-то; моли-ка лучше бога, чтоб дал тебе здоровье да сохранил тебя для нее... Вишь, славненькая какая, просто чудо!..

Она подошла к ребенку и погладила его по голове.

Рыдание, раздирающее, ужасное, вырвалось тогда из груди Акулины; слезы градом брызнули из погасавших очей ее, и она упала в ноги доброй барыни...

– Что ты?.. Что ты?.. Что с тобою?.. – говорила та, сиюсь приподнять бабу. – Успокойся, милая! О чем кручиниться?.. Бог даст, здорова будешь... перестань...

– Матушка!.. Матушка... ты... ведь ты одна... одна приголубила мою сиротку... – И она снова повалилась в ноги доброй барыни.

Жена управляющего каждодневно навещала в избу Григория. Истинно добрая женщина эта употребляла все свои силы, все свои слабые познания в медицине, чтобы только помочь Акулине. Она не жалела времени. Но было уже поздно: ничего не помогало. Больной час от часу становилось хуже да хуже.

Наступившая зима, морозы, растворяемые беспрерывно на холод двери, против которых лежала Акулина, сильно к тому способствовали. Наконец ей совсем стало невмочь. Григорий

сходил за попом. После обычного обряда отец Петр объявил присутствующим, что божьей воли не пересилить, а больной вряд ли оставалось пережить ночь. Ее так и оставили.

В избе смеркалось. Кругом все было тихо; извне слышались иногда треск мороза да отдаленный лай собаки. Деревня засыпала... Василиса и Дарья молча сидели близ печки; Григорий лежал, развалившись, на скамье. В углу против него покоилась Акулина; близ нее, свернувшись комочком, спала Дунька. Стоны больной, смолкнувшие на время, вдруг прервали воцарившуюся тишину. Вздуги огня и подошли к ней.

– Что тебе?.. Аль прихватило?.. – сказала Дарья.

Но Акулина ничего не отвечала и только вперила угасавшие очи на мужа; долго смотрела она на него и, наконец, произнесла прерывающимся голосом: «Григорий...» Василиса и Дарья перемигнулись и вышли на двор.

– Ну, что?.. – отвечал тот, подходя ближе к жене...

– Григорий!.. – продолжала Акулина тем же замирающим голосом. – Григорий... Григорий... – У нее не хватало сил сказать больше.

– Ну, слышу; что же надо?

Она положила руку на спавшего возле нее ребенка и произнесла протяжно:

– Не бей... ее... не бей... за что?!

Видно было, что она хотела что-то еще сказать, но речь ее стала уже мешаться и вышла нескладна; мало-помалу звуки ее голоса слабели, слабели и совсем стихли; смутные, полуоткрытые глаза не сходили, однако, с мужа и как бы силились договорить все остальное; наконец и те начали смежаться... Григорий взглянул на нее еще раз, потом подошел к полатам, снял с шеста кожух, набросил его на плечи и вышел из избы.

Дарья и Василиса попались ему в сеничках.

– Ну, что? – произнесли тетки почти в одно и то же время.

– Отходит, – отвечал Григорий, натягивая узкий рукав на мощную свою руку.

Когда они вступили в избу, Акулины уже не было на свете.

На другой день рано утром отец Петр явился к Григорию в сопровождении дьячка, чтоб совершить панихиду над грешным телом жены его. Когда панихида была окончена, тело Акулины снесли в каморку, где назначено ему было пролежать еще до похорон.

...Вьюга не утихала; резкий морозный ветер не переставал наметывать груды снега и, казалось, еще усиливался с каждым часом; но Григорию нипочем была стужа и вялица: он никак не соглашался отложить похорон. Немало твердили ему домашние: «Выжди немного; ишь какая посыпала погода, зги не видно. Эй, в сугробе засядешь!..» Григорий не слушался и норовил лишь, как бы скорее спровадить покойницу. По колени в снегу, он уже припрягал тощую клячу к оглоблям розвальней, на которых лежал длинный, живьем сколоченный гроб Акулины. Василиса и Дарья глядели с крылечка на его приготовления. Из избы слышались время от времени чьи-то стоны и вопли...

– Что не уймете пострела-то? – сказал наконец Григорий. – Ишь как воеет...

– И то в каморку заперли, не унимается, – отвечала Дарья.

Когда все было готово, кляча взнуздана, а гроб привязан веревками к розвальням, Григорий замотал поводья к перекладине навеса и поплелся в избу. Вступив в нее, он снял с полки небольшой штоф, заткнутый грязною ветошью, и принялся цедить из него себе в горло; натянувшись вдоволь, он поспешил возвратиться к делу.

– Что ты, Гриша, пораскраснелся? – заметила Василиса, не покидавшая с сестрою прежнего своего места. – Выпил, что ли, для куража?..

– Маленько было, – отвечал тот, – ну, отворяйте же ворота...

Он приладился на край гроба, нахлобучив на глаза шапку, гаркнул: «Эй вы, поваливай!!», махнул вожжами и понесся по улице.

Вьюга злилась по-прежнему, дорогу заметало, целые горы снега рассыпались ему на голову. Григорий, ошеломленный вином, ни на что не обращал внимания и знай только хлестал и стегал несчастную свою клячу, которая то и дело вязла в оврагах... Вдруг, посреди завывания ветра и шума метелицы, ему послышались крики; он оглянулся: в мутных волнах между сугробами бежала сломя голову Дунька. Григорий приподнялся на облучке и погрозил ей. «Пошла, пострел, домой... пошла домой!.. Замерзнешь! Пошла домой!» – кричал он, принимаясь с большим еще остервенением колотить свою клячу. Хмель, благо морозно было, успел уже обуять его; удары сыпались за ударами, лошадь несла его во всю мочь; изредка оборачивался Григорий назад... «Пошла домой, пострел!.. Пошла домой!» – горланил он; но ребенок не переставал бежать за ним с тем же криком и воплем. «Пошла домой! Вот я те... окаянную!» – продолжал отец. Дунька все бежала да бежала...

А вьюга между тем становилась все сильнее да сильнее; снежные вихри и ледяной ветер преследовали младенца, и забивались ему под худенькую его рубашонку, и обдавали его посиравшие ножки, и повергали его в сугробы... но он все бежал, все бежал... вьюга все усиливалась да усиливалась, вой ветра становился слышнее и слышнее; то взрывал он снежные хребты и яростно крутил их в замутившемся небе, то гнал перед собою необозримую тучу снега и, казалось, силился затопить в нем поля, леса и все Кузьминское со всеми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хоромами...

Антон-Горемыка

*Живи, коли можется;
Помирай, коли хочется.*

Народная пословица

I

Дядя и племянник

В самой глухой, отдаленной чаще троскинского осинника работал мужик; он держал обеими руками топор и рубил сплеча высокие кусты хвороста, глушившие в этом месте лес непроходимую засекой. Наступала пора зимняя, холодная; мужик припасал топливо. Шагах в пяти от него стояла высокая телега, припряженная к сытенькой пегой клячонке; поодаль, вправо, сквозь обнаженные сучья дерев виднелся полунагой мальчишка, карабкавшийся на вершину старой осины, увенчанную галочьими гнездами. Судя по опавшему лицу мужика, сгорбившейся спине и потухшим серым глазам, смело можно было дать ему пятьдесят или даже пятьдесят пять лет от роду; он был высок ростом, беден грудью, сухощав, с редкою бледно-желтой бородою, в которой нередко проглядывала седина, и такими же волосами. Одежда на нем соответствовала как нельзя более его наружности: все было до крайности дрябло и ветхо, от низенькой меховой шапки до коротенького овчинного полушубка, подпоясанного лыковой тесьмою. Стужа была сильная; несмотря на то, пот обильными ручьями катился по лицу мужика; работа, казалось, приходилась ему по сердцу.

Кругом в лесу царствовала тишина мертвая; на всем лежала печать глубокой, суровой осени: листья с дерев попадали и влажными гудами устилали застывавшую землю; всюду чернелись голые стволы дерев, местами выглядывали из-за них красноватые кусты вербы и жимолости. В стороне яма с стоячею водою покрывалась изумрудною плесенью: по ней уже не скользил водяной паук, не отдавалось кваканья зеленой лягушки; торчали одни лишь мшистые сучья, облепленные слизистою тиной, и гнилой, недавно свалившийся ствол березы, перепутанный поблекшим лопушником и длинными косматыми травами. Вдалеке ни птичьего голоска, ни песни возвращающегося с пашни батрака, ни бляения пасущегося на пару стада; кроме однообразного стука топора нашего мужичка ничто не возмущало спокойствия печального леса.

...Время от времени за лесом подымался пронзительный вой ветра; он рвался с каким-то свирепым отчаянием по замирающим полям, гудел в глубоких колеях проселка, подымал целые тучи листьев и сучьев, носил и крутил их в воздухе вместе с попадавшимися навстречу галками и, взметнувшись наконец яростным, шипящим вихрем, ударял в тощую грудь осинника... И мужик прерывал тогда работу. Он опускал топор и обращался к мальчику, сидевшему на осине:

– Эй, Ванюшка! ишь куда забрался! того и гляди ветром снесет, ступай наземь!..

– Не замай, дядя Антон, – откликнулся парнишка, – небось, не снесет!

Дядя Антон, успокоенный каждый раз таким увещанием, брал топор, нахлобучивал поглубже на глаза шапку и снова принимался за работу. Так повторялось неоднократно, пока наконец воз не наполнился доверху хворостом. Внимание мужика исключительно обратилось тогда к племяннику; его упорное неповиновение как бы впервые пришло ему в голову, и он не на шутку рассердился.

– Ах ты, баловень! – закричал он, стучая обухом топора в осину. – Долго ли говорить тебе? Слезай! Вот я те, озорника, поартачишься у меня, погоди!..

– А вот же не слезу, коли так, – отвечал мальчуган, взбираясь все выше и выше.

– Не слезешь?.. ладно же, оставайся один в лесу, пусть те едят волки... проклятого!..

Угроза, казалось, подействовала на ребенка; он обхватил ручонками коренастый ствол дерева, приготавливаясь спуститься наземь при первой попытке дяди исполнить обещание.

– А бить станешь? – вымолвил он, наклонив из-за ветки кудрявую свою головку и глядя пристально на дядю.

– Ну, ну, слезай, знай слезай...

– Взаправду не станешь?..

– Говорят, не стану, ступай скорей!

Ванюшка спустился сажени на две и опять повис на сучке.

– И на лошадь, дядя Антон, посадишь?

– Ладно, ладно, ступай только.

– Не обманешь?

– Экой пострел, прости господи! Говорю, посажу – чего еще?

Последнее обстоятельство окончательно успокоило парнишку; с быстротою и ловкостью белки проскользнул он между верхними сучьями и в одно мгновение ока очутился на земле подле дяди.

Вскоре воз, навьюченный красноватым и сизым хворостом, медленно выезжал из лесу, скрипя и покачиваясь из стороны в сторону, как бы изловчаясь сбросить с себя при первом косогоре лишнюю тяжесть. Ванюшка сидел верхом на пегашке; он был вполне счастлив. Русые его кудряшки, развеваясь по ветру, открывали поминутно круглое, свежее личико, сияющее восторгом. Антон шел подле, запустив одну руку за пазуху, другой упираясь в оглоблю. Проколесивши добрый час по глинистым кочковатым полям, стлавшимся за лесом, путники наши выехали наконец на проселок и немного погодя услышали отдаленный шум мельницы. Воз приближался к троскинской лощине. Незаметная издалика и терявшаяся в волнистых линиях местности, лощина эта принимала вблизи довольно широкие размеры: на дне ее, поросшем конятником и ветельником, заваленном плитняком и громадными угловатыми камнями, шумела и пенилась река; вместо моста через нее перекидывалась узкая плотина, упиравшаяся одним концом в старую водяную мельницу. С той стороны, откуда приближалась телега, мельница освобождалась совершенно от ветл, ограждавших ее с других трех частей, так что амбары, клетки, двор, толчея, навесы виднелись как на ладони. Шлюзы были опущены: все три постава работали без устали; главное здание, обдаваемое с одного бока белою шипящею пеной, тряслось словно в лихорадке; мука, покрывавшая его кровлю, сыпалась в воду и крутилась в воздухе. Гул был страшный. Прежде чем спуститься с уступистой кручи на берег, Антон остановил лошадь и указал племяннику на мельницу.

– Поглядь-кась, Ваня, не видать ли где мельника?

– Аксентия Семеныча? – спросил ребенок.

– Экой дурень! нешто у нас, кроме него, другой какой есть...

– Нет, дядя Антон, нету... а кто-то стоит... вон в белой-то рубахе... вон, вон руками-то размахивает!..

– Ладно, не будь только он; того и смотри, с ярманки вернется, встренется да денег станет просить, беда! Ох-хо, хо! Ну, Ванюха, трогай, да смотри, не больно круто спущай!..

Миновав благополучно шаткую плотину, пегашка взнесла воз на противоположный берег, поднялась на косогор и приостановилась; она вздохнула свободнее и замотала хвостом, что делала обыкновенно, когда была довольна. Дорога опять пошла ровная и гладкая. Когда соломенная кровля мельницы с осенявшими ее скворечницею и ветлами скрылась за горою, перед глазами наших мужичков снова открылась необозримая гладь полей, местами окутан-

ная длинными полосами тумана, местами сливающаяся с осенним облачным небом, и снова ни былинки, ни живого голоса, одна мертвая дорога потянулась перед ними. Наконец вправо начал показываться господский дом, ближе – и вот он весь выглянул словно из земли. Все в нем обозначало не только отсутствие хозяина, но даже давнее запустение; ставни заколочены наглухо: некоторые из них, сорванные ветром, качались на одной петле или валялись подле треснувшего и обвалившегося основания; краска на кровле, смытая кое-где дождем, обнаруживала гниль и червоточину; стекла в покосившейся вышке почти все были выбиты; обветшавшая наружность этого здания, или, лучше сказать, этой развалины, облеплялась повсюду неровными рядами ласточьих гнезд; они виднелись в темных углах, вдоль желоба, под карнизами. Казалось, одни ласточки не покидали старого барского дома и оживляли его своим временным присутствием, когда темные купы акаций и лип, окружавшие дом, покрывались густою зеленью; в палисаднике перед балконом адели мак, пион, и сквозь глушившую их траву высывала длинную верхушку свою стройная мальва, бог весть каким-то странным случаем сохранившаяся посреди всеобщего запустения; но теперь даже и ласточек не было; дом глядел печально и уныло из-за черных безлиственных деревьев, поблекших кустарников и травы, прибитой последними ливнями к сырой земле дорожек.

Проходя мимо, Антон не замедлил, однако, снять шапку; так прошел он вдоль старого сада, флигелей, пчельника, пока наконец не поравнялся с помещичьими ригую и овином. Тут он не только надел шапку, но даже остановился: за плотным забором возносилось такое несметное множество скирд убранного хлеба, что невольно разбегались глаза и вчуже забирала зависть. Уже несколько лет сряду стояли они таким образом неприкосновенными, непочатыми, приглашая каждого любоваться ими вдоволь. Поговаривали в околотке, будто огромным этим запасам хлеба суждено было выждать здесь благоприятной и счастливой минуты всеобщего неурожая в губернии, на что, как утверждали, были у владельца их свои особые соображения, не совсем чуждые корысти; но слухам, известно, верить нельзя: чего не выдумают! Дело в том, что чем далее глядел наш мужик на скирды, тем более потуплял голову, и, наконец, господь знает отчего, совсем загрустил. Раздумье одолело его так сильно, что он стал даже пропускать без внимания груды хвороста, валившиеся у него с воза, тогда как прежде тщательно собирал сторонние веточки, попадавшиеся на окраине дороги.

Между тем деревня все еще не показывалась. Темные тучи, сгустившиеся над нею, окутывали ее сизой непроницаемой тенью; струйки белого дыма, косвенно поднимавшиеся в сизом горизонте, давали, однако, знать о близости избышек. Прежде всего попала на пути маленькая кузница с дюжим кузнецом Вавилою на пороге, который, приветливо кивнув Антону головою, вымолвил: «Отколе?» и на ответ: «А из осинника», зевнул, перекрестив рот; там глянули высокие «магазеи», за ними крестьянские густые огороды, а там потянулось и самое село Троскино, расположенное по скату лощины. Толпа чумазых ребятишек, игравших в бабки, стояла на улице подле колодца. Они, казалось, нимало не замечали стужи и еще менее заботились о том, что барахтались, словно утки, в грязи по колени; между ними находилось несколько девчонок с грудными младенцами на руках. Семи– или восьмилетние нянюшки дули в кулаки, перескакивали с одной ножки на другую, когда уже чересчур забирал их холод, но все-таки не покидали веселого сборища; некоторые из них, свернувшись комочком под отцовским кожаном, молча и неподвижно глядели на игравших.

Проезжая мимо, Ванюшка, начинавший было корчиться от стужи на своей кляче, вдруг вытянулся, приосанился и крикнул, во сколько хватило силенки:

– Эй! пошли прочь!.. Раздавлю!.. Ишь лошадь едет...

Толпа дала дорогу, окидывая седока завистливыми взглядами. Одна девчонка, рыженькая, курносая, взъерошенная и вдобавок еще хромая, пустилась догонять воз, прыгая и вертясь на одной ножке.

– Дядя Антон, дядя Антон, посади на воз! – кричала она. – Посади, голубчик, на воз... золотой, посади, право-ну, посади!..

– Пошла прочь, – вымолвил Антон, грозя хворостиной, – чего привязалась! Вот я те!..

Девчонка остановилась, дала ему проехать несколько шагов и потом снова поскакала; только теперь, как бы назло, она коверкалась и ломалась несравненно более, кричала звонче, приступала настойчивее, пока, наконец, выбившись из сил, поневоле должна была отказаться от своего преследования, но и тут не упустила случая высунуть Антону язык и поднять рубашонку.

Изба Антона стояла у самой околицы и завершала собой правую линию села, выдавшуюся в этом месте несколько вперед. Она бросалась в глаза своею ветхостью: один бок ее, примыкавший к околице, почти сгнил дотла, отчего остальная часть здания покачнулась и села на ту сторону. Кровля, от тяжести давившей ее когда-то соломы, приняла совершенно другое направление; она сползла наперед и грозила ежеминутным падением. Трубы не было; ее заменял глиняный горшок с выбитым дном для дыму. Деревянный петушок, красовавшийся, вероятно, в лучшие времена на макушке крыши, принял также свое направление во время всеобщего обвала и уныло свесился влево. Единственное оконце, заткнутое лохмотьями и обмазанное кругом глиною, глядело невыразимо кисло. Изба со всех сторон подпиралась сучковатыми плахами, уподоблявшими ее согбенному старику нищему, наступившему на костыли свои; словом, все на ней, как говорится, было и валко, и шатко, и на сторону. Невыразимо тяжело и грустно становилось на сердце, глядя на это жилище; даже Степан Бичуга, сосед, вообще равнодушный ко всему житейскому, за исключением одной разве косушки, и тот не проходил мимо без того, чтобы не оглянуть Антонову избенку со всех сторон и не покачать заботливо лысою головою.

Несмотря на то, хозяева лачужки заметно ускоряли шаг, и лица их, по мере приближения к ней, просветлялись приветливой улыбкой. Ванюшка никак даже не мог удержаться, чтобы не крикнуть в порыве восторга несколько раз сряду: «Дядя Антон, домой приехали! Ишь, дядя Антон, ишь, дом-то, вон он!.. вон он какой!..» При въезде на двор навстречу им выбежала девочка лет шести; она хлопала в ладоши, хохотала, бегала вокруг телеги и, не зная, как бы лучше выразить свою радость, ухватила ручонками за полы Антонова полушубка и повисла на нем; мужик взял ее на руки, указал ей пальцем на воз, лукаво вытащил из середины его красный прутик вербы, подал его ребенку и, погладив его еще раз по голове, снова пустил на свободу. Девочка была в неопisanном восторге от роскошного подарка.

– Ну, Ваня, будет! Слезай-ка с лошади да ступай скорее с сестренкой в избу, на печку, – сказал дядя. – Небось оба поесть хотите?

– Дядя Антон, голубчик, золотой ты мой! Дай распрячь лошадку, я опосля поем, – кричал мальчишка.

– И то замерз совсем, куды те справиться!

– Ничаво, дядя, голубчик, ничаво, право слово ничаво... Ты, Аксюшка, ступай в избу, ишь, озябла ты... а я приду.

Не все же понукать да драться: дядя покорился; вскоре все трое взошли на крылечко, а оттуда и в избу.

II Гольш

Хозяйка Антона была не одна: против красного угла избы, почерневшего так, что едва можно было различить в нем икону, сидела гостья, старуха лет пятидесяти. Свет из единственного светлого оконца падал прямо на нее. Сморщенное, желтоватое лицо старухи, осененное космами седых волос, кой-как скомканных под клетчатый платок, ее карие глаза, смотревшие из впадин своих зорко и пронизательно, острый тоненький нос, выдавшийся подбородок, лохмотья и клюка – все это напоминало как нельзя лучше сказочную бабу-ягу или по крайней мере деревенскую колдунью-знахарку. Но в сущности ничего этого не было: старуха принадлежала просто-напросто к тем жалким побирушкам без семьи, роду и племени, которые таскаются из села в село, из деревни в деревню и кормятся мирским подаянием, или, как выражаются в простонародье, «грызут окна».

– Здорово, Архаровна, – произнес Антон, видимо недовольный присутствием гостьи.

– Здравствуй, кормилец ты мой, – отвечала, вздыхая, старуха и тотчас же наклонила голову и явила во всей своей наружности признаки величайшей немощи и скорби.

– Что те давно не видать в нашей стороне, – заметил мужик с явной иронией, – мы уж думали, ты и вовсе не пожалуешь...

– Асинька?..

– Аль оглохла, старая?

– Не слышу, кормилец...

– Что те давно не видать? – крикнул Антон.

– Пришла по хлебушко, родимый ты мой, – простонала она жалобно, – не дадут ли на старость люди добрые...

– Да что говорить, – продолжал мужик, пристально на нее глядя, – что говорить, хлебца-то небось и всякому хочется... иной вот и не так чтобы больно нуждается, а глядишь, туда же канючит, словно и взаправду с голоду...

– С голоду, касатик, о-ох! с голоду, – отвечала она, принимая последнее слово как исключительно до нее относящееся. – На старости лет куды те горько, и помереть так негде...

– И-их, бабка, кажись, уж ты много больно берешь бедности на свою душу, – вымолвил с досадою хозяин, – ишь вон сказывают, будто ты даром что ходишь в оборвышах да христарадничаешь, а богаче любого из нашего брата... нагдысь орешкинские ребята говорили, у тебя, вишь, и залежные денежки водятся... правда, что ли?..

Он недоверчиво посмотрел ей в лицо.

– Ась?.. не слышу, родимый, – произнесла недвижно старуха.

– Да полно, так ли? погоди, дай-ка разуться, авось тогда услышишь.

Сказав это, Антон подошел к печке и стал раздеваться. Слова его, казалось, однако, произвели на глухую старушонку не совсем обыкновенное действие; лицо ее как бы внезапно ожилося, глаза, которые держала она постоянно опущенными, быстро поднялись и окинули избы. Хозяин подошел к ней и сел на лавочку; лицо Архаровны выражало по-прежнему скорбь и уныние.

– Что ты баял, кормилец?

Антон повторил побирушке слухи, носившиеся о ней на деревне.

– И-и-и! – проговорила она, качая седою головою. – Невесть чего не скажут злые люди, на злую речь слово купится...

– А что им, прибыль, что ли, какая?.. Ишь ты сколько лет слоняешься по белу свету да окна грызешь! Куды девать деньги – вестимо, хоронишь про черный день...

– В чужой руке ломоть велик, касатик, ину пору и хлебушка нетути, не токма что денег, по миру пойдешь, тестом возьмешь... ох-хо-хо!..

– Ладно, толкуй, – отвечал, смягчаясь, Антон, – ну, да что тут, я только так к слову молвил; если и водятся деньжонки, так известно, кому до того дело... Варвара! чего нахохлилась? Собери обед, смерть есть хоцца, да, чай, и ребята проголодались.

Это обращалось к хозяйке дома, невзрачной бабенке, молчаливо сидевшей в углу на скамейке поодаль от старухи. Она не принимала до сих пор никакого участия в разговоре и только изредка поглядывала на мужа. Услыша слова его, она повернула к нему изнуренное, бледное лицо свое, вздохнула и сказала:

– Чего я тебе дам, Антонушка... ох, ничего-то у нас нету...

– Кажись, намедни лучку осталось?

– Нет, не осталось – нагдысь ребята весь поели... – И она снова вздохнула.

– Ну, давай хлеба, кваску... да полно тебе день-деньской хохлиться-то... инда тоска берет, на тебя глядя...

Варвара поднялась, сняла с полки чашку, нацедила в кувшинчик кваску, потом вынула из столового ящика остаток ржаного каравая, искалеченную солоницу, нож и молча оставила все это перед мужем. После чего она тотчас же уселась на прежнее свое место, скрестила руки и стала смотреть на него с каким-то притупленным вниманием.

– Эй, ребяташки! – крикнул Антон. – Вы и взаправду завалились на печку – ступайте сюда... а у меня тюрят-то славная какая... э! постойте-ка, вот я ее всю съем... слезайте скорее с печки... Ну, а ты, бабка, что ж, – продолжал он голосом, в котором незаметно уже было и тени досады, – аль с хозяйкой надломила хлебушка? Чего отнекиваешься, режь да ешь, коли подкладывают, бери ложку – садись, – человек из еды живет, что съешь, то и поживешь.

– Спасибо, отец родной, и то хозяйка твоя накормила, дай ей господь бог много лет здравствовать...

В это время Аксюшка подбежала к дяде, всползла к нему на колени и обняла смуглую его шею тоненькими своими ручонками.

– Эка девчонка-то у меня баловливая какая, бабушка, – вымолвил мужик, целуя ребенка. – Эка озорливая девчонка-то, – продолжал он, глядя ее по головке. – Сядь-ка ты сюда, плут-девка, сядь-ка поближе к своему дядьке-то да поешь... ну, а Ванюшка где?..

– А он, дядя Антон, на улицу ушел к ребятам.

– Ишь, пострел какой, прости господи, только и норовит, как бы ему из дому прочь; погоди, Аксюшка, дай ему вернуться, вот мы ему с тобой шею-то наkostenяем... Слышь, бабка, озорник-ат мой от дому все отбивается.

– А господь с ним, не замай его, – молвила Архаровна, – пуцай его балует, пока невеличек...

– Какой невеличек!.. Поглядела бы ты на него: парнишка куды на смысле, такой-то шустрый, резвый, все понимает, даром от земли не видать; да я ведь посмеялся, я не потачлив, что греха таить, а бить не бью... оба они дороги мне больно, бабка, даром не родные, во как, – продолжал он, лаская Аксюшку, – во! не будь их, так, кажись, и мне, и хозяйке моей скорее бы жизнь опостыла; с ними все как бы маленечко повеселее, право-ну!

– Вестимо, они теперь махочки, смыслу нет, а как подрастут, так тебе же спасибо скажут, родимый, за добро твое...

– Э! бабка, было бы им ладно, а там что останется от моей бедности, то и им достанется...

– Что ж, родимый, – спросила вдруг старуха, – брат небось весточку посылает?..

– Нет, с той самой поры, как в солдаты взяли, ни слуху ни духу; и жена и муж – словно оба сгинули; мы летось еще посылали к ним грамотку да денег полтинничек; последний отдали; ну, думали, авось что и проведем, никакого ответа: живы ли, здоровы ли – господь их ведает. Прошлый год солдаты у нас стояли, уж мы немало понавевывались; не знаем, говорят, такого, –

что станешь делать... Ну, а ты, старуха, кажись, сказывала нам, также не ведаешь ничего про сына-то своего с того времени, как в некруты пошел...

– Нет, родимый, ничего не ведаю, – произнесла жалобно старуха и отвернулась...

Антон и жена его принялись утешать побирушку.

– Да, – начал мужик, – на старости лет, вестимо, одной-то горько: неравно помрешь, и похоронить-то некому.

– Ох, некому, кормилец, родимый ты мой, некому...

– А вот нам, коли молвить правду, не больно тошно, что брата нету: кабы да при тепе-решнем житье, так с ним не наплакаться стать; что греха таить, пути в нем не было, мужик был сплошной, неработающий, хмельным делом почал было напоследях-то заниматься; вестимо, какого уж тут ждать добра, что уж это за человек, коли да у родного брата захребетником жил, – вот разве бабу его так жаль: славная была баба, смиренная, работающая... ну да, видно, во всем бог... на то его есть воля... ох-хо-хо...

Антон прислонил ложку к закраине чашки, уперся спиной в стену и перестал есть; долго сидел он таким образом, пригорюнясь и не произнося ни слова. Только изредка ласкал он Аксющку, которая, положив русую головку свою на грудь дяди, забавлялась медным крестиком, висевшим у него за пазухой. Мало-помалу добродушное, кроткое лицо мужика нахмурилось; вытянувшиеся черты его уже ясно показывали, что временная веселость и спокойствие исчезли в душе бедняка; в них четко проглядывало какое-то заботливое, тревожное чувство, которого, по-видимому, старался он не обнаруживать перед женою, потому что то и дело поглядывал на нее искоса. Наконец Антон облокотился на стол, взглянул еще раз на жену и сказал старухе голосом, который ясно показывал, что он приготовлялся вымолвить ей совсем другое.

– Вот, бабушка, – так начал мужик, – было времечко, живал ведь и я не хуже других: в амбаре-то, бывало, всего насторожено вволюшку; хлеб-то, бабушка, родился сам-шост да сам-сём, три коровы стояли в клетки, две лошади, – продавал почитай что кажинную зиму мало что на шестьдесят рублей одной ржицы да гороху рублей на десять, а теперь до того дошел, что радешенек, радешенек, коли сухого хлебушка поснедаешь... тем только и пробавляешься, когда вот покойник какой на селе, так позовут псалтырь почитать над ним... все гривенку-другую дадут люди...

Он оглянулся на Варвару; та сидела, закрыв лицо руками и несколько отвернувшись от него; заметив, что слезы струились между ее пальцами, Антон замялся.

– Да, – подхватил он громче прежнего, – да, бабушка, так во како дело-то – во оно дело-то какое... а ты все на свою долю плачешься, того, мол, нет, да того не хватает... а вот мы и тут с хозяйкой не унываем (он посмотрел на Варвару), не гневим господа бога... грешно! Знать, уж на то такая его воля; супротив ее не станешь...

– О-о-ох, вестимо, кормилец ты мой, бог дал, бог и взял...

– Да, не знаешь, где найдешь, где потеряешь, – сказал мужик, стараясь принять веселый вид, – день дню розь; пивал пьяно да ел сладко, а теперь возьмешь вот так-то хлебушка, подольешь кваску – ничаво, думаешь, посоля схлебается! По ком беда не ходила!.. Эх! Варвара, полно тебе, право; ну что ты себя понапрасну убиваешь; говорю, полно, горю не пособишь, право-ну, не пособишь...

– Вестимо, касатка, – отозвалась старуха, – веку только убавишь себе... ох, что ваша бедность! У вас хошь вот поплакать-то есть где... а вот у меня, горькой сироты, так и поплакать-то негде...

– Ну, в том не больно велика утеха; что вой, что не вой – все одно – живи, коли можется, помирай, коли хочется... Э, старушка, горько жить на белом свете нашему брату!..

– О-о-ох, горько, родимый, так-то горько, что и сказать мудрено...

Варвара быстро приподнялась и вышла из избы.

– Вот, – сказал Антон, посмотрев на дверь, – она-то, бабушка, крушит меня добре слезами-те своими; вишь, баба плошная, квелая... долго ли до греха!.. Теперь, без нее, скажу тебе по душе... по душе скажу... куды!.. пропали мы с нею и с ребятенками, совсем пропали!.. Вот ведь и хлебушко, что ешь, и тот – сказать горько – у Стегней-соседа вымолил! Спасибо еще, что помог... ох... а такое ли было житье-то мое...

– Сказывают, – заметила Архаровна, по-видимому, не принимавшая до сих пор никакого почти участия в том, что говорил Антон, – сказывают, Стегней-то богат добре!..

– Богат-то он богат... да ведь иной и богатый хуже нашего брата голыша...

– Мне, кормилец, Савельевна говорила, что у него три лошади... да и медку, вишь, сказывают, продавал по осень... и денег-то, чай, много...

– Ну, господь с ним, – отвечал откровенно Антон, – я тебе про свое горе говорю... эх, доля моя, доля!.. Вот, почитай, пятый год так бьюсь, и что ни день, то плоше да плоше...

– Все небось управляющий, касатик, не жалует?

– Не жалует?.. Ох! Это бы еще ништо; кого он жалует? Живут же люди... нет, он, злодей, мне напался, весь мой век заедает! С бела света долой гонит! – А что наше дело, вестимо, какое, терпишь да терпишь; мы ведь на то и родились, бабушка!.. Да!.. Вот хоть теперь – пришло время подушные платить, где я их возьму? Отколе? Он же разорил меня да пустил по миру, а страшает теперь: в солдаты, говорит, да на поселенье сошлю, не погляжу, говорит, что у те жена есть, вон он что толкует... Ох, бабка, бабка, кабы был один я, ну бы еще ништо, одна голова не бедна, а то с ними-то что станется?.. Да... прогневил, знать, я чем господа бога!..

Вошла Варвара – муж замолчал. Почти в то же время в воротах послышался стук. Антон подошел к светлому оконцу, выходявшему на двор, и крикнул:

– Кто там?

Отклика не было.

– Кто там? – повторил мужик, подняв окно.

– Это я, дядя Антон, – отозвался тоненький серебристый голосок в сенях, и в избу вбежала девочка лет двенадцати.

На бледном, чрезвычайно продолговатом личике этого ребенка и вообще во всей его наружности было что-то такое, что невольно обращало на себя внимание; этот тоненький нос с легким, едва приметным погибом на середине, узенькие губы, приятно загнутые по углам, чистый, правильный очерк головы, нежные черты прозрачного личика и тоненькие тщедушные члены отличали его сразу от известного уже типа коренастых, грубо обточенных детей крестьянских. Особенно поражали в ней эти черные выразительные глаза, которым необыкновенная бледность и худоба щек придавали еще более блеску и величины. Черные волосы смоляного отлива, небрежно обстриженные когда-то в кружок, рассыпались неровными прядями вокруг ее нежной, утиной шейки. Одежда ее отличалась также от крестьянской. Она состояла из неуклюжего платья синей домотканой полосухи, прорванного на локтях, с заплатками из белой холстины, – платья, которое снизу едва прикрывало босые ноги девочки до колен; сверху от шеи до перехвата оно ниспадало угловатыми, широкими складками, обтягивало и обтирало ей грудь и плечи. Девочка остановилась посередь избы, раскрыв губы и прижимая грудь ручонками: она едва переводила дух от усталости. Между тем хозяин и хозяйка подошли к ней.

– Что ты, Фатимушка? – спросил первый с заметным смущением. – А? Не хочешь ли тюрки, на, поди...

– Нет, дядя Антон, нет, Никита Федорыч прислал, – отвечал скороговоркою ребенок, приправляя каждое слово быстрыми, живыми движениями рук, – приказал кликнуть тебя – ступай скорей – сам наказывал...

И она откинула назад голову, чтобы поправить волосы, которые заслонили ей лицо.

Варвара присела на скамейку и зарыдала на всю избу. У Антона захолонуло в сердце.

– Ну! – вскричал он, отчаянно ударяя себя кулаками об полы. – Пришла беда, отворяй ворота! Верно, опять за подушными! Полно тебе, Варвара, душу мне только мутишь слезами-те... Эко дело... эко дело... как тут быть!..

Смушение бедного мужика было так велико, что он несколько времени ходил как угорелый по избе, заглядывал без всякой нужды во все углы, поправлял то крышку кадки, то солоницу, то кочергу и, наконец, вышел из дому, позабыв даже накинуть на плечи полушубок. Вой Варвары сопровождал его до самой улицы. Вступив на барский двор, где находился старый флигель, помещавший контору и квартиру управляющего, Антон увидел Никиту Федорыча, который уже ожидал его на пороге. Приближаясь к крыльцу, мужик почувствовал, что колени его тряслись и дыхание спиралось у него в горле: озноб прошибал его до костей. Опустив голову, подошел он медленным, робким шагом к управляющему. Это был человек средних лет, то есть от сорока до пятидесяти, средней полноты и среднего роста; шарообразная голова его, покрытая белокурыми волосами с проседью, обстриженными ниже, чем под гребенку, прикреплялась почти непосредственно к плечам, что делало Никиту Федорыча издалека весьма похожим на бульдога. К этому сходству немало также способствовали густые черные брови, серые глаза навывкате, широкие калмыцкие скулы, пышный трехъярусный подбородок и коротенькие ноги наподобие обруча, или, как говорится, «кибитки». Несмотря на все эти мелочные недостатки, которые между прочим не представляли в общем ничего особенно отвратительного, фигура управляющего нимало не теряла важности и той спокойной гордости, сияющей всегда в чертах человека, сознающего в себе чувство собственного достоинства. Фигура его имела, напротив того, какую-то приятную соразмерность, стройность даже, и была чрезвычайно характерна. Но если всмотреться хорошенько, нельзя было не прочесть в этих серых бойких глазах, в этой толстой круглой голове, важно закинутой назад, в этих толстых раздувшихся губах что-то столь наглое, дерзкое и подлое, что невольно напоминало любимца-камердинера, или дворецкого, или вообще члена многочисленной семьи мерзавцев богатой избалованной дворни или аристократической передней. В настоящую минуту на нем был серый нанковый однобортный архалук, подбитый мерлушками и застегнутый доверху, пестрая шерстяная ермолка и синие, непомерно широкие шаровары. Из верхней петли архалука висела толстая золотая цепочка с ключиком для часов. Он стоял в дверях, растопырив ноги, запустив одну руку в карман шаровар, другою поддерживал длинный чубук, из которого, казалось, высасывал вместе с дымом все более и более чувство собственного достоинства.

– Что ж ты, шутить, что ли, думаешь? – сказал он Антону. – Все внесли подушные, ты один ухом не ведешь, каналья! А? Говорил я тебе, а? Сказывай, говорил или не говорил – худо будет?..

И управляющий закинул еще выше голову.

– Сказывали, Никита Федорыч...

– Ну!

– Докладывал вашей милости, – отвечал мужик, потупляя голову, – как будет угодно... у меня подушных нет... взять неоткуда... извольте делать со мною что угодно: на то есть власть ваша... напишите барину, пушай наказать прикажет, а мне взять, как перед богом, неоткуда...

– Ах ты плут, бестия этакая... из-за тебя стану я беспокоить барина... вас только секи, да подушных не бери... ну, да что тут толковать... не миру платить за тебя... знаю я вас, мошенников... Лошадь жива?..

Антон обомлел; дрожь пробежала по всем его членам; он быстро взглянул на Никиту Федорыча и произнес дрожащим голосом:

– Никита Федорыч! Никак уж ты и совсем погубить меня хочешь?..

– Что?

– Никита Федорыч! Батюшка! – продолжал мужик. – Пожалей хоть ребяенок-то махоньких... и то, почитай, пустил ты нас по миру...

– А вот потолкуй-ка еще у меня, потолкуй, – перебил управляющий, делая движение вперед, – я тебя погублю! Завтра же веди лошадь в город на ярманку, теперь пора зимняя, лошади не надо, – произнес он лукаво, – да смотри, не будет у меня через два дня подушных в конторе, так я не погляжу, что ты женат, – лоб забрею; я и так миловал тебя, мерзавца!..

– Никита Федорыч, а Никита Федорыч, – сказал Антон, едва удерживаясь от слез, – батюшка!..

И он повалился в ноги.

– Э! Меня этим не разжалобишь, пошел! Чтоб было, как приказываю, вот и все! Ступай! – прибавил он, топнув ногой.

– Что ж у меня-то останется, – говорил отчаянно мужик, – как последнюю-то лошаденку продам?.. И так по миру, почитай...

– Ну, ну, ну... разговаривай, разговаривай... кабы не ярманка, так я бы не так еще с тобой разделался...

В это время дверь из квартиры управляющего растворилась; из нее выглянуло вполтину желтое женское лицо, перевязанное белою косынкой.

– Никита Федорыч, а Никита Федорыч! – крикнула женщина пискливо. – Ступай чай пить; что тебя не дожدهшься, ступай скорее...

Управляющий повернулся в ту сторону и, не дожидаясь дальнейших возражений мужика, поспешил к самовару.

Домогаться милости Никиты Федорыча было делом совершенно лишним; по крайней мере в этом нимало не сомневались троскинские крестьяне; Антон знал это еще лучше других. Медленно покинул он двор и вышел на улицу. Сумерки, или «сутисочки», как называют их в деревне, начинали уже ложиться на землю; бледные дымчатые полосы тумана там и сям окутывали поля и распускались по окрестности; в воздухе заметно похолодело. Антон, сам не зная почему, не пошел по улице, а, обогнув ближние за флигелем избы и крестьянские огороды, поплелся задами...

Приближаясь к крайним амбарам села, то есть тем, которые стояли уже подле околицы, Антон увидел совершенно неожиданно в нескольких шагах от себя клетчатый платок, висевший на кусте репейника. Это обстоятельство и, вдобавок, измятые и сломанные стволы растений, показывавшие, что на том самом месте кто-то своротил с дороги в рощу, чрезвычайно удивило его. Он невольно забыл на минуту свое горе; поосмотревшись кругом, пошел он к кустам, снял платок и начал пристально рассматривать. Не доискавшись, разумеется, ничего, Антон бережно свернул его, сунул за пазуху и пошел далее. Но не успел он сделать двух шагов, как увидел бегущих навстречу соседей, Степана Бичугу и старшего сына его, Пантелея. Оба казались сильно встревоженными; они бежали сломя голову по дороге, без шапки, без полущубка и сильно размахивая в воздухе руками. Поравнявшись с Антоном, они остановились.

– Сват! – сказал ему торопливо Степан. – Не встрел ли кого на дороге?.. А?..

– Нет... сват... никого... – отвечал Антон.

– Эко дело... и никого не видал?

– Никого...

– Эко дело! Что за черт! – вскричал Степан. – Бабы, вишь, лен мяли... слышат, как словно кто шевелится в клети... они глядь... ан человек сидит... да как пырснет вон... э! ты дьявол! Что за притча... Они кричат... хват... ан трех кур как не бывало!.. они к нам... мы с Петрухой бегом... нагонять! Бегали, бегали, никого... что за леший... Ты, сват, никого не встрел?..

– Никого, – отвечал удивленный Антон, – хоть бы живого человека встрел... а вот кусты... больно вымяты...

Мужички покинули соседа и снова пустились в погоню по дороге...

Такое обстоятельство не могло не привлечь внимания Антона; в Троскине, и особенно с некоторых пор, только и слуху было, что о разных проказах: то уводили лошадей, то подползали в клетки и каморы, выбирали деньжонки, холсты и всякое домашнее снадобье. Поговаривали даже, будто в соседнем селе Орешкове мужик Дормидон, идучи по лесу, наткнулся на двух бродяг, которые наказывали ему передать их старосте, чтоб берег лошадей, не то уведут, и что, несмотря на все принятые предосторожности, лошадей все-таки увели в первую ночную сторожку. Все это разом прихлынуло в голову Антона; он невольно забыл на мгновение свое горе. Сумерки уже совсем омрачили небо, когда он вступил к себе в избу. Тут все уже давным-давно успокоилось. Варвара, свесив голову на стол и обняв обеими руками остаток каравая, спала крепко-накрепко; свет от догоравшей лучины отражался лишь в углу на иконе; остальная часть избы исчезла в темноте; где-где блистала кочерга или другая домашняя утварь; с печки слышалось едва внятное легкое храпенье обоих ребятишек. Антон поправил лучину, оглянул кругом стены и сел подле жены на лавочку. Движение это мгновенно пробудило Варвару.

– Ну что, Антонушка? – сказала она, отводя от лица волосы и придвигаясь проворно к мужу. – Зачем звал тебя злодей-то наш?.. Да что ж ты не баешь? – прибавила она, нетерпеливо дергая его за полу.

– Что тут баять, – отрывисто отвечал муж; он тяжело вздохнул и, как бы собравшись с духом, промолвил: – Велел пегашку вести... на ярманку!.. Не надоть ее, говорит... теперь дело зимнее: проживешь без лошади... Ну, вот, сказал тебе сдуру, а ты... Эх, Варюха, Варюха! Полно тебе рюмиться-то, ведь говорю, слезами-те пуще мутишь мне душу! Эка ты, право, неразумная баба какая... нешто горю этим пособишь?.. Знать, погрешил я, право, чем перед господом богом!..

– Касатик ты мой! – говорила, рыдая, баба. – Нешто я о своем горе убиваюсь... ох, рожонной ты мой... мне на тебя смотреть-то горько... ишь заел он тебя... злодей, совсем... как погляжу я на тебя... индо сердечушко изнывает... и не тот ты стал... ох... – И тут она, опустившись на лавку, затянула нараспев: – Ох, горькая наша долюшка... и пошла-то я за тебя горькой сиротинушкой, на беду-то, на кручину лютую...

– Послушай, Варюха, а Варюха... слушай, что я тебе скажу, – твердил мужик, силясь приподнять ее, – не убивайся так-то, наше дело еще не пропащее, вот ономясь встретился мне Федотов из Выселок, сказывал... сулил, что, коли, мол, хошь, Антон, я тебя возьму в работники... пять десятков в год, вишь, дает... не убивайся, пойду в работники, отпрошусь на оброк...

– Ох, не верти меня, родимый; я все проведала: у Федотова давнешенько батрак нанялся... ох, горькая, горькая наша-то долюшка...

И баба снова повалилась на лавку, залилась пуще прежнего слезами.

– Эх я, дурень! – вскричал мужик. – Эй, Варюха, я, бишь, и забыл, вот поглядь-кось, поглядь – ишь, какую штуку поднял я на дороге... погляди... – Сказав это, он выложил на стол платок, стараясь утешить бабу. – Иду по задам, гляжу, никого нет, а он вот висит на кусте, как словно зацепился...

– Родной ты мой, да ведь это, знать, старуха обронила...

– Какая старуха?

– Да вот нищенка-то, что к нам заходила...

– Ой ли?.. Полно, так ли, Варвара?.. Не обмолвилась ли ты спросонья?

– Что ты, касатик! Я сама видела, как она, сердешная, платок-от повязывала.

– Тут, Варюха, мотри, что-то непутное, – вымолвил Антон раздумчиво, – старуха-то... Э! То-то люди сказывают, будто и в частую заставляли ее за такими делами. И как это она скоро улизнула... Нет, не пушай ты ее к нам, долго ли до греха!.. Гость и немного гостит, да много видит; ишь, я было сдуру-то разговорился с нею, а кто ее знает, может, и взаправду зло какое

замышляет... в чужой разум не влезешь... Я давно заприметил, она только и норовит, как бы выведать, что у нас в деревне делается... У кого, вишь, сколько скота, лошадок, как живет... Вот и нынче про Стегнея Борисова тоже выведывала, до всего ей дело! Э, нет, не пушай ее к нам в избу, ни за что не пушай, господи упаси!..

– Ее платок, точно ее, – заметила Варвара, утирая слезы, – вот и прореха на самой серединке.

– То-то, – отвечал мужик, заботливо качая головою, – ишь на старости лет какой грех принимает на свою душу, и бесстыжая ведь какая! Так вот и лезет, а поглядишь, словно и взаправду нищенка... Недаром говорят; у ней деньга-то водится, да... о-ох!..

Антон помолился перед иконою, разулся и, вздохнув несколько раз сряду, полез к ребятишкам на печку. Варвара затушила лучину и последовала за мужем. Вскоре все затихло в избе. Неизвестно, однако, скоро ли заснул бедный ее хозяин; быть может, он даже вовсе не смыкал глаз...

Верно только то, что не спал сверчок; унылая песня его потянулась мерно и тихо, потом стала чаще, звончее, наконец мало-помалу заглушила храпенье ребятишек и наполнила собою избушку.

III

Дорога

В избушке царствовал еще глубокий, непроницаемый мрак, когда Антон приподнял потихоньку голову и начал прислушиваться... Убедившись, что жена и ребята крепко-накрепко спали, он осторожно, чуть дыша, спустился с печи и стал приготавливаться в дорогу. Отыскать ошупью полушубок и шапку, намотать наскоро в потемках онучи, отрезать краюху хлеба, завернуть ее в тряпицу и засунуть за пазуху – мужику дело привычное. Он перекрестился наобум перед углом, где стояла икона, и выбрался на крыльцо. Заря еще не занималась; на дворе только что проглядывали первые повиднушки. Антон припер как можно плотнее дверь из крылечка в избу.

– Ну, теперь спите вволю, – вымолвил он, – господь с вами, спите... Слезами-те только душу мутите, а мне и без них куда тошно...

Он вошел в клеть, где стояла пегашка. Почуяв хозяина, она тотчас же повернула к нему кудластую свою голову, насторожила уши и замотала хвостом.

– Ну, пегашка, полно, полно те хвостом-то вилять, – произнес мужичок не совсем твердым голосом, – небось из дому-то не хочешь? Ступай-ка, ступай, не кобенясь; супротив воли и люди идут, не токмо что ты... Ступай; знать, и тебе пришла пора делить хозяйское горе...

Антон взнуздal ее и вывел на двор. Бедная кляча словно предугадывала свою участь: всегда смиренная и покорная, она в этот раз фыркала, упорно мотала головою и беспрестанно озиралась на стороны, как бы прощаясь навсегда с двором и клетью, посреди которых выросла и вскормилась. Антон также глядел на дряблую избушку свою; бог весть о чем он думал: чужая голова – темный лес. Наконец махнул он рукой, взял лошадь под уздцы и вышел на улицу. Он сел на лошадь. Но пегашка никак не хотела идти к околице, куда направлял ее Антон; несмотря на все усилия его, она пустилась сначала вскачь к колодцу, потом дала круг по всей улице и все-таки остановилась у избушки. Видя, что сила не берет, хозяин принужден был слезть наземь, снова взять ее под уздцы и вывести за околицу. Ворота заскрипели и затворились. Темнота уже заметно рассеялась; но не ясный, ведренный день обещало утро; там, с востока, не багрянилось небо, не ложились алые, золотистые полосы света, предвестницы теплого солнышка; небо было серо, пасмурно; сизые тучи облегали его отовсюду, суля ненастье и северку.

Дорога от околицы шла в гору; по мере того как Антон подымался, местность, окружавшая деревню, постепенно ограждалась возвышенностями и принимала вид лощины. Там, словно из земли, выступали поминутно – то крестьянский овин с пригнувшеюся к нему рябиною, то новый дощатый забор, то часть барского сада, о существовании которых нельзя было и подозревать с улицы. Мало-помалу показалась речка с угловатыми своими загибами, потом ветлы и кровля мельницы, еще выше – потянулись поля с знакомым осинником, потом снова все это попряталось одно за другим; вот уже исчезли мельница, господский дом, село, а вот и избушка Антона начала уходить за горою... Хозяин ее еще раз обернулся в ту сторону, прищурился, протер глаза и вдруг хлестнул пегашку и пустился рысцою по дороге. Миновав троскинские земли, Антон притянул поводья и поехал шагом. Гора уже давным-давно закрыла собою дорогу села; во все стороны на необозримый кругозор открывались черные поля, смоченные дождями; редко-редко мелькала вдалеке полоса соснового леса или деревушка; дорога то и дело перемежалась проселками.

Антон давно уже не ездal в город. Никита Федорыч не любил отпускать часто мужиков из деревни; особенно строго держался он этого правила с теми из них, с которыми находился в неприязненных отношениях. По его мнению, не отпустить мужика в город считалось хорошою и вместе с тем очень действительной мерой наказания. Так, например, накоплялось ли гороху у мужичка – где бы свезти его на базар, благо цена красна, ан нет: как ни бьется сердечный,

Никита Федорыч ни за что не отпустит; подумает крестьянин: плетью обуха не перешибешь, да и продаст горох соседу за сущий бесценнок – не лежать же стать житу да гнить в закроме. Другому господь бог залишнюю телушку послал; вот и бредет он к управляющему: «Деньги, мол, понадобились, батюшка, соблаговолите отпустить в город кой-что продать; надо, вишь, обзавестись тем да другим по хозяйству». – «Ах ты, такой-сякой, – молвит ему управляющий, – небось, как соты-то ломал прошлую осень, так не принес мне медку? Сиди-ка дома; все бы вам только шляться...» Что, – думает проситель, – господ наших нетути, а он у нас сила, не стать перечить, зарежет телку, да и поснедает ее с божьей помощью. Так же точно было и с Антоном, если еще не хуже.

Но теперь дело в том, что на шестнадцатой или семнадцатой версте наш мужик решительно стал в тупик; очнувшись внезапно от раздумья, которое овладело им с того самого времени, как покинул он Троскино, Антон никак не мог припомнить ни места, где находился, ни даже сколько верст оставалось приблизительно до города. Он только и помнил, что проехал Киясавку и Выселки да свернул влево от Екиматовской слободы. На пегашку же положиться не было никакой возможности; Антон знал, что, будучи лошадью незаметною, то есть лишенною способности припоминать дорогу, она могла очень легко завезти его бог весть куда. Он задумывал было свернуть в сторону, к видневшейся влево за перелеском деревушке, когда один совершенно неожиданный случай навел его снова на путь истинный. Оглядывая местность, он увидел на распутье полуразвалившийся деревянный крест, водруженный в небольшой бугорок.

– Эхва, у меня из памяти-то вышла могилка дяди Андрея! – воскликнул он, снимая шляпу и крестясь набожно. – Дорога-то вот тут же и сворачивает в город... на Закуряево... Эх, совсем запамятовал, чуть было с пути не сбился!

Дорогою Антон невольно принялся припоминать происшествие, связывавшееся с дядею Андреем.

Года три тому назад на этом самом распутье стояла мазанка, принадлежавшая монастырскому сборщику, одинокому старичку. Редкий из окрестных жителей не знал его; бывало, кто бы ни плелся, кто бы ни ехал в город, мужик ли, баба ли, седой старичишка тут как тут, стоит на пороге да потряхивает своей книжонкой, к которой привязан колокольчик. И редкий говорил ему: «Бог подаст!», редкий не отдавал ему копеечку на построение господнего храма. Все по привычке к нему с самого детства. И вдруг не стало дяди Андрея, как словно никогда его здесь и не бывало. Толковали, толковали мужички окрестные и наконец вот что узнали. Однажды в самую глухую зимнюю полночь входят к Андрею два незнакомые человека, скручивают его по рукам и по ногам и требуют денег. Долго допытывались они, – стоит на одном старик: три гроша всего, вишь, у него, остальные вечер в монастырь отослал, а больше, видит бог, нетути! Они пуще пытать. Уж он им молился, молился, нет! уходили-таки старика обухом и сами принялись искать. Как перешарили все до ниточки, тут только и спохватились, что даром потеряли человека: в тряпице за печью всего-на-все было три гроша. Наехали со всех сторон земские да понятые, закопали дядю Андрея на самом распутье, мазанку снесли на другую дорогу, ибо никто не соглашался поселиться в ней, а на ее месте воздвигли крестик, тот самый, что так часто напоминал мужичкам дорогу в город.

Антон не успел еще перебрать в голове все подробности этого происшествия, наделавшего в свое время много шуму в околотке, как увидел вдалеке телегу, которая медленно приближалась к нему навстречу. Сначала показалось ему, будто в ней никого не было, но потом, когда она поравнялась, он разглядел на дне ее мужика, лежавшего врястяжку. Антон несказанно обрадовался.

– Эй! Послушай, брат, – крикнул он, – а, примерно, далеко ли отсель до столбовой дороги?

Тот, к кому обращался вопрос, лениво и как бы нехотя приподнял голову, подперся локтем, поглядел пристально на Антона, зевнул протяжно и, не отвечая ни слова, улегся в телегу.

– Эй, сват, эй! – крикнул Антон. – Что ж ты? Эй, далече ли до столбовой?..

Мужик снова приподнял голову, поглядел на Антона, опять зевнул и, опять не ответив ни слова, опустился на дно своей телеги; только на этот раз он хлестнул лошадь, которая мигом унесла его из виду.

Антон опять остался один-одинешенек посреди полей: пегашка плетется дробным шажком, а он то и дело посматривает вправо да влево, то прищурится, то раскроет глаза, принимая каждый пень, каждую кочку за живого человека. И вот снова чудится ему, что кто-то едет навстречу. Глядит, и впрямь несется тележка; вороная лошадь в наборной шлее с медными бляхами, на облучке подскакивает не то мещанин, не то помещик, а только не мужик: на нем картуз и синий кафтан. На этот раз, однако, встреча, казалось, не порадовала нашего мужичка; он круто осадил пегашку, смутился, сделал даже движение, ясно выражавшее намерение кинуться в сторону, но тотчас же остановился; было поздно – Антон узнал в синем кафтане троскинского мельника, которого так усердно избегал несколько месяцев сряду. Мельник остановился; Антон слез с лошади.

– Здравствуй, Аксентий Семеныч! – произнес он, переминая в руках шапку.

– Здорово, брат, куда?

– В город, Аксентий Семеныч, лошадь продавать... подушных платить нечем; такая-то беда стала со мною...

– Ну, а мне-то когда заплатишь? Я, кажись, и то немало ждал...

Антон замялся.

– То-то, брат, – продолжал мельник, переменяя тон, – ведь так промеж добрых людей делать не приходится; летом еще осталось получить с тебя за помол, а ты с той поры и глаз не кажешь: сулил отдать ко Второму Спасу, а я хоть бы грош от тебя видел... так делать не показано вашему брату... на то есть правота: как раз пойду в контору... я давно заприметил, ты от меня отлыниваешь...

– А что мне от тебя отлынивать... нешто я коли отлынивал...

– Видно, так.

– Ину пору и рад бы отдал, да коли нечем; сам ведаешь, отколе скоро-то взять нашему брату хрестьянину... был нынче недород, с корки на корку почитай что весь год перемогались... Аксентий Семеныч... тут вот подушные еще платить надо...

– Про то не мое дело ведать... вам подушные платить, а мне небось по миру идтить... делай, как быть следно, знай честь, счетом взял, счетом и отдавай; что тут баить...

– Что ты опасешься?.. – сказал Антон, смягчая по возможности голос. – Разве я отнекиваюсь от долга, говорю, отдам, обожди маненько, твое дело не пропащее, право, скажу спасибо...

– На какой мне леший твое спасибо? Из него шубы-то не сошьешь...

– Кажись, Аксентий Семеныч, мне не впервые с тобою ведаться.

– Точно не впервые, что говорить; зачем же молоть-то на чужой мельнице? Ась?

– На Емельяновке-то?

– А хоть бы и на Емельяновке...

– Сходнее, Аксентий Семеныч...

– Как сходнее?.. За восемнадцать-то верст сходнее?..

– Оно, что баить, далече, да на Емельяновке-то за помол берут с нас хлебом, а ты, вишь, требуешь деньгами... да еще пятак с воза набавил... сам порассуди, откуда их взять... наше дело знамо какое...

– Ладно, ладно... ну, а зачем же подзадоривал Федосея да Ивана Галку ездить на Емельяновку?..

– Да когда я их подзадоривал?.. Что ты?..

– А то кто же? Ты первый из троскинских поехал...

– Знать, сами проведали...

– Сами проведали! То-то, шишковато больно говоришь; ты говори, да не ври, не вечер я родился, – что, думаешь, не знаю!

– Чтоб мне век от добрых людей добра не видать, Аксентий Семеныч, коли я им хошь слово какое сказал...

– Ладно, брат, толкуй дьяковой кобыле; я думал по чести вести с тобой дело, а ты вот на что пустился! Других еще стал подзадоривать... Ладно же, – вскричал мельник, мгновенно разгорячаясь, – коли так, отколе хошь возьми, а деньги мои подай! Подай мои деньги!.. Не то прямо пойду в контору... Никита Федорыч не свой брат... как раз шкуру-то вылушит! погоди, я ж те покажу!

Сказав это, мельник дернул вожжи и поехал далее. Смущение и досада, овладевшие Антоном при этой встрече, уступили место тяжкому горю. Обстоятельство это показывало ему в самых резких и сокрушительных чертах и без того уже горькую его долю. Он уже не глазел теперь по сторонам; понурив голову, смотрел он печально на бежавшую под его ногами дорогу, и не раз тяжкий вздох вырывался из груди бедного мужика. Таким-то образом, сам почти не замечая этого, выехал он на большую дорогу. Тут Антон невольно должен был оставить свои думы и заботиться исключительно о настоящем своем положении.

Дорога, размытая осенними ливнями, обратилась в сплошную топь; стада волов, которых прогоняют обыкновенно без разбора, где ни попало, замесили ее и делали решительно непроходимую; стоило только заезваться раз, чтобы окончательно посадить и лошадь и воз или самому завязнуть. Сколько ни оглядывался Антон, не замечал ни верст, ни вала, ни ветелок, которые обозначили бы границу: просто-попросту тянулось необозримое поле посреди других полей и болот; вся разница состояла только в том, что тут по всем направлениям виднелись глубокие ямы, котловины, «черторои», свидетельствовавшие беспрестанно, что здесь засел воз или лошадь; это были единственные признаки столбовой дороги. Местами, впрочем, заметны были следы чьего-то заботливого попечения: целые груды хвороста и мелкого леса воздвигались, как бы предохраняя путника от трясины или топи; но путники, в числе их, разумеется, и Антон, старались по возможности объезжать их; даже кляча последнего с необыкновенною тщательностью обходила эти поправки, догадываясь, вероятно, глупым своим инстинктом, что тут-то легче всего сломить ногу или шею.

Спустя немного времени Антон встретил длинную вереницу баб в белых платках и таких же балахонах, делавших их владелиц издали похожими на привидения. Они тянулись одна за одной гуськом по дороге. У каждой была клюка и берестовая котомка с прицепленною к ней парю лаптей за плечами. Все от первой до последней шли босиком.

– А что, бабушка, вы небось из города? – спросил Антон у старушки, сгорбленной и едва передвигавшей от стужи ноги.

– Из города, касатик.

– Что, много небось на ярманке нашего брата с лошадьми?..

– А не знаю, кормилец, – отвечала она, кланяясь, – кто их знает: мы не здешние...

– Да вы отколе?

– Сдалече, родимый: мы каширские... идем в Воронеж на богомолье...

– По своей охоте... идете? – спросил рассеянно мужик.

– По своей.

Антон вздохнул и почесал затылок.

– Э! – произнес он, махнув рукою.

– О чем спрашиваешь, касатик? – сказала другая богомолка, помоложе первой.

– Далече ли до города? – вымолвил он отрывисто.

– А сколько? – продолжала она, обращаясь к третьей. – Тетка Арина, сколько до города? Верст десяток станет?..

– Что ты, – отвечала нерешительно Арина, – много, много, коли пяток...

Не дожидаясь спора, который, без сомнения, должен был возникнуть вследствие этого недоразумения между бабами, Антон поехал далее; отъехав версты две, он услышал песню и немного погодя различил двух человек, которые шли по закраине дороги и, как казалось, направлялись к стороне города. Вскоре он нагнал их. Это были два молодых парня веселой и беспечной наружности. Один из них, тот, который казался постарее, был с черною как смоль бородою, такими же глазами и волосами; белокурая бородка другого только что начинала пробиваться. Мещанский картуз с козырьком, обвитый внизу у залома лентой, из-под которой торчали корешки павлиньих перьев, украшал голову каждого из них, спустившись с макушки набекрень; белые как мел полушубки с иголочки составляли их одежду, отличавшуюся вообще каким-то особенным щегольством. Смазные сапоги с алою сафьянною оторочкою болтались у них за плечами; коротенькая трубочка, оправленная медью, дымилась в губах того и другого. Не успел поравняться с ними Антон, как уже оба они остановились, и черный крикнул ему, оскалив свои белые как кипень зубы:

– Здорово, брат крестьянин! Эй! Не берешь ли попутчиков? Посади нас на лошадь, мы бы с тебя дешево взяли...

– Нет, братцы, спасибо... и одного-то насилу везет... – нехотя отшутился Антон.

– А мы, ей-богу, дешево бы с тебя взяли. Севка! Сколько даешь?

Севка вынул изо рта чубучок, отплюнул сажени на три и залился звонким хохотом.

– А что, братцы, много ли еще осталось до города?

– Да вот как, – отвечал без запинки черный, – пойдешь – близко, думаешь, а придешь – скажешь, дорога дальняя!..

– Полно вам чудить, ребята, – произнес мужик, – э! – он махнул рукой, – ишь лошадь совсем умаялась...

– Что с тобой станешь делать... изволь, скажу... мотри только... чур не обгоняй, спроси у Севки, он те скажет...

– Как раз пять верст, – сказал Севка.

– Что ты! Эк махнул! – вскричал черный. – Пять!.. И в десять не вопрешь! Что больно близко?..

– Ан пять!

– Ан десять!

– Ан пять!

– Ан десять!

– Врешь! Эк ты, Матюшка, спорить горазд; сейчас за горою будет село Бубрино, а от него всего четыре версты до заставы...

– Эка шалава, пра шалава, – отвечал ему на это Матюшка потихоньку, – нешто не видишь, я хотел было мужика повертеть... пра, шалава...

Севка снова залился смехом.

– Отколе тебя бог несет, Христов человек? – начал Матюшка.

– Мы из троскинских... знаете село Троскино?.. – отвечал со вздохом Антон.

– Ну, вестимо, как не знать.

– А вы, братцы, отколе?

– Отколе? А из сельца Дубиновки, слободы Хворостиновки, вотчины Колотиловки, – отвечал серьезно черный.

– Ишь, черти балясники! – вымолвил Антон.

– Аль не веришь? – продолжал Матюшка. – Ей-богу, правда; а коли знать хочешь, так по деревням шлялись, зипуны да поневы шили... Эй, земляк, нет ли табачку: смерть нюхнуть хочца.

– Нет, нету... ну, а, примерно, какая ваша служба?

– А вот какая: пришел в деревню, брякнул дубиной в окно: «Эй вы, тетки, бабы, девки да хозяйева с чечеревятами, нет ли шитва?», а нет шитва, так бражки подавай удалому Кондрашке!..

– Стало, вы портные?

– Портные, ребята удалые!.. Эй, Севка, что ж ты прикорнул, собачья голова, аль сноху нажил? Ну, запевай: «Эй, вдоль по улице, да мимо кузницы»... ну!..

И оба затянули лихую, забубенную песню. Антон слушал, слушал и не мог надивиться удали молодцов.

– Что, много оброку платите? – спросил он задумчиво, когда песня была окончена и парни закурили свои трубки.

– Ровно ничего, – отвечали они в один голос.

– Как так?..

– Да так же: мы, брат, вольные, живем не тужим, никому не служим!..

Тут Матюшка приложил коренастую ладонь к правой щеке своей и запел тоненьким, пронзительным дискантом:

Ты зачем, зачем, мальчишка,
С своей родины бежал?

Никого ты не послушал,
Кроме сердца своего...

Вскоре все три путника достигли высокой избы, осененной елкой и скворечницей, стоявшей на окраине дороги при повороте на проселок, и остановились.

– Вот мы шутя, а алтын на сороковину отмахнули, – сказал Матюшка Антону. – Ну что ж, слезай, пора духу перехватить; вот, гляди, и казенная аптека перед нами...

– Нет, спасибо, братцы, – отвечал тот, – пра, спасибо, – прибавил он, озираясь на стороны и почесывая затылок.

– Э, полно миряком-то прикидываться, пойдем, сорвем косуху при спопутности...

– Неколи... вам дело досужное, а мне в город пора...

Антон вздохнул.

– Ну вот еще, поспеешь.

– Денег нету.

– Эка беда, ступай, оставь что-нибудь в закладе, как назад поедешь, отдашь...

Видно было, что наш мужик сильно колебался; наконец он собрался с духом и сказал решительно:

– Ей-богу, не пойду!

– Что ж ты, глотку опозорить боишься, что ли? Не пьешь?..

– Пить-то пью... эх, нет, не пойду!..

Антон повернул лошадь к городу.

– Ну, да черт те дери... эй, земляк, выпей хошь для миру... хошь для миру-то выпей...

– Господь с вами, – сказал Антон, пуская рысью пегашку.

– Экой черт! – кричали ему вслед молодцы. – Прямая шалава!.. Погоди, обронил хвост у лошади... Эй!.. Цапля!..

Но Антон ничего не слышал; он давно уже был за горою. Погода между тем как будто собиралась разгуляться; свинцовое небо прояснилось; это делалось особенно заметным вправо от дороги к селу Бабурину. Белый господский дом и церковь, расположенные на горе, вдруг ярко засияли посреди темных, покрытых еще густою тенью деревьев и избышек; в свою очередь сверкнуло за ними дальнее озеро; с каждою минутой выскакивали из мрака новые предметы: то

ветряная мельница с быстро вращающимися крыльями, то клочок озими, который как бы мгновенно загорался; правда, слева все еще клубились сизые хребты туч и местами косая полоса ливня сливала сумрачное небо с отдаленным горизонтом; но вот и там мало-помалу начало светлеть... Сквозь туманную мглу просияла пестрая радуга, ярче, – и вот она обогнула собою половину неба; луч солнца, неожиданно пробившись сквозь облако, заиграл в бороздах, налитых водою, и вскоре вся окрестность осветилась белым светом осеннего солнышка. В то же время и самая дорога как бы немножко повеселела. Чем ближе придвигалась она к городу, тем более было заметно на ней оживления. Нередко начинали уже попадаться тучные, укутанные веретями возы с мукою, рожью, огурцами, горшками и разными другими хозяйственными принадлежностями. Кое-где встречались бабы, тащившие за веревку хилую, костлявую коровенку с высохшим выменем, которую, вероятно в награду за ревностную службу многих лет, влачили продавать кошатникам на шкуру. Из проселков то и дело сворачивали телеги, наполненные мужиками и бабами, горланившими песни. Нарядные поярковые шляпы, кафтаны и сапоги у мужчин, алые повойники и коты пестрые у женщин давали знать о происшедшей в городе ярмарке. Проехав еще версты две, Антон увидел длинную, бесконечную фуру с высоким верхом, покрытым войлоком; на передке сидел, нахохлившись, седой сутуловатый старик и правил изнуренною, едва переводившею дух тройкою; подле него на палке, воткнутой в облучок, развевался по воздуху пышный пучок ковыля. Из кузова, завешенного кое-как рогожею, высывалось несколько ног, смуглых, черных, а между ними виднелась кудластая, взъерошенная голова, державшая во рту трубку с медною оковкою. Из фуры слышался живой разговор на каком-то странном, диком языке. К задней части экипажа, переплетенной веревками, была привязана целая дюжина разношерстных лошадей, тавренных по бедрам. Словом, по всему узнать можно было цыган-барышников. Далее попался слепой нищий, упирившийся одной рукой на сучковатую палку, другую на плечо худощавого оборванного мальчика, с трудом вытаскивавшего изнуренные больные ноги из грязи. Оба они, как видно, также поспешали на ярмарку в надежде выгодной добычи. Наконец-то заблестали вдалеке маковки церквей, глянули кровли, здания, а там выставилась из-за горизонта и вся гора, по скату которой расползался город. На песчаных отмелях широкой реки, огибавшей гору, белелся монастырь; паром, нагруженный подводами, медленно спускался по течению реки; на берегу чернелось множество народу, возов, лошадей. Шум слышался еще издали.

Сердце почему-то сильно забилося в груди Антона, когда он подъехал к заставе. Он словно впервые почувствовал себя на чужбине и безотчетно вспомнил о жене и ребятишках. Вслед за тем пришел ему в голову Никита Федорыч, горькая доля, ожидавшая семью в случае неудачи, потом встреча с мельником... Он быстро соскочил с пегашки и, приблизившись к мужику, торговавшему ободьями, спросил отрывисто, как бы проехать короче на конную. Получив ответ, Антон вступил за заставу и вскоре, подобно зерну, попавшемуся раз под порхающий жернов, был затерт толпою и исчез вместе с своей клячонкой.

IV Ярмарка

Городишко, где происходит ярмарка, принадлежал к самым ничтожным уездным городам губернии. Глядя на него в обыкновенное время, нельзя даже подумать, чтоб он мог служить целью какой бы то ни было поездки; он являлся скорее на пути как *средство* ехать далее; куда ни глянешь: колеса, деготь, оглобли, кузницы, баранки – и только; так разве перехватить кой-чего на скорую руку, подмазать колеса сесть, и снова в дорогу. Но в ярмарочную пору, и особенно осенью, он принимал такую оживленную, разнообразную наружность, что трудно даже было узнать его. И немудрено: сколько ни находится в околотке мужичков с залежными гривнами и пятаками, с припасенными про случай ржицею, гречею, мукою и сеном, все окрестные купцы, барышники, мещане, промышленники всякого рода и сброда – все стекалось сюда, кто для барышей и дела, а кто, как водится, погулять, поглазеть да мошну повытрясти. Впрочем, и то сказать надо: есть на что посмотреть, есть что и купить в «коренную ярмарку»¹⁶. Сколько одних навесов, яток, строек, шатров понаставлено не только на площадке, но даже по всем переулкам, закоулкам, по всему скату горы, вплоть до самого берега! И чего уж нет-то под ними, какого надо еще добра и товара? Тут пестрыми группами возносятся кубышки, крыночки, ложки кленовые, бураки берестовые, чашки липовые золоченые суздальские, жбанчики и лагунчики березовые, горшки, и горшки-то все какие – муравленные коломенские! Там целые горы жемков, стручьев, орехов, мякушек, сластей паточных-медовых, пряников, писанных сусальным золотцем... Здесь мечутся в глаза яркою рябизною своею полосухи, набойки, холстинки, миткали всякие... А сколько платков, и сизых, и желтых, и алых, с разводами и городочками, развеваются по воздуху! Сколько александровки, кумачу, ситцев московских, стеклярусу!.. А сколько костромского товару: запонок, серег оловянных под фольгою и тавлинок под слюдою! – Кажись, на весь бы свет с излишком стало.

Поглядите-ка теперь, сколько, посреди всего этого, народу движется, толкается и суетится! Какая давка, теснота! То прихлынут в одну сторону, то в другую, а то и опять сперлись все на одном месте – хоть растаскивай! Крик, шум, разнородные голоса и восклицания, звон железа, вой, бляенье, топот, ржание, хлопанье по рукам, и все это сливается в какой-то общий нестройный гам, из которого выхватываешь одни только отрывчатые, несвязные речи... Прислушайтесь: «Ой, батюшки, давят! Ой, голубчики, давят!» – пронзительно взвизгивает толстая мещанка в мухояровой душегрейке на заячьем меху. «Ой, родимые, отпустите! Проклятый – чего лезешь!..» – и вслед за тем раздается подле густой бас: «А сама чего топыришься... Ну, ну, не больно пихайся, я и сам горазд...» – «Ах ты, такой-сякой, общипанец...» Но тут голос мещанки покрывается рассыпчатым дребезжаньем торговки: «Купчиха! Голубушка! На баранки, на баранки, сама пекла! На сайку, на горячу, сама пекла, на сайку...» – «По лук, по лук!» – слышится вслед за этим. «Э! лачи грай! тамар у девел, течурасса ман!» (Э! добрая лошадь! Убей меня бог, украл бы!) – «Авен, авен-те кинас!» (Пойдемте торговать!) – кричат в отдалении цыгане. «Что покупаете? Ситцы-с, канифасы, нанки, выбойки!.. У нас брали, пожалуйста!..» – «Эх, солнышко садится, а у меня в мошне ничего не шевелится!» – раздается где-то в стороне. «Иван Трофимыч! Иван Трофимыч! где, вы говорили, гребенки продают?.. Ой! Ой! Давят!.. Иван Трофимыч, не отставайте!» – и толпа дворовых девок, разряженных в пух и в прах, кидается сломя голову к высокому лакею со встрепанной манишкой. «Сюда, сюда, Анна Андреевна, не опасайтесь-с, ничего-с... Марфа Васильевна, не отставайте, город помещенье большое-с, долго ли потеряться...» – «По клюкву, по ягоду по клюкву!» – «Помилуй, Хри-

¹⁶ Так называются вообще в Средней России осенние ярмарки. (Прим. автора.)

стов ты человек, сам гляди, нынешнее!» – «Черно больно...» – «Како черно, где оно черно? Ну, где? Сено что ни есть свежее, звонкое сено, духовитое...» – «Спиридоныч, а Спиридоныч! Купи девке-те коты-те, ишь воет, ажно душу дерет». Звуки гармоники и удалая песня заглушают на мгновение все голоса. «Севка, а Севка! Припррем-ка вон ту купчиху-то, что больно топырится...» – «И то, и то, напирай сильнее, Митюха, ну, не робей!» – «Ой, батюшки, давят! Ой, голубчики, давят!» – снова вопиет на всю ярмарку мешанка в душегрейке на заячьем меху. «Ишь, чертова кукла, как воет; а ну-кась, Севка, катнем-ка еще...» – «Ну, черт с ней! Знаешь что, Матюшка, пойдём-ка, брат, на конную, нашлялись здесь вволюшку...» – «На нашу долюшку! Ну, Севка, пойдём... Эй, стой! Вон, кажись, сцепились – драка; ступай сюда!» Долговязый белокурый парень стоит, оскалив зубы, перед седым стариком, увешанным кнутами, варежками, кушаками, который ругается на все бока и чуть не лезет парню в бороду.

– Эй, дядя, чему оскоряешься, али рад, что дожил до лысины? Что таришь парня-то? – крикнул Матюшка.

– Вестимо, что у вас? Что? – раздалось в сдвинувшейся толпе.

– Братцы! – прохрипел старик. – Он мошенник, хлыновец окаянный!.. Почитай что вот с самого утра прикидывается у меня к кушаку; торгует, торгует, а, словно на смех, ничего не покупает... Ах ты, в стекляночной те разбей!.. Ах ты!..

– Господа, а господа, полно вам! – говорит городской польского происхождения, инвалид с подбитым глазом, выступая вперед и толкая ссорившихся. – Полно, господа, начальство узнает, ей-богу, начальство... полно... вон (он указал на острог) туда как раз на вольный хлеб посадят... Полно, господа!..

– Эки дьяволы, право! – произнес Матюшка, отходя прочь. – Хошь бы маленько-то почесали друг друга, а то ишь чего испужались... Ну, леший с ними! Пойдем, брат Симеон, на конную, ишь, солнце того смотри сядет!

Конная площадь составляет главную точку ярмарочной промышленности. Там, правда, не встретишь ни офеней¹⁷, увешанных лубочными картинками, шелком-сырцом, с ящиками, набитыми гребешками, запонками, зеркальцами, ни мирных покупателей – баб с задумчивыми их сожителями; реже попадаются красные девки, осанистые, сытые, с стеклярусными на лбу поднизьями; тут, по обеим сторонам широкой луговины, сбился сплошную массой народ, по большей части шумливый, задорный, крикливый, охочий погулять или уже подгулявший. Одна сторона поля загромождена возами сена, дегтем, ободьями, лесом, колесами; также торгуют тут коровами и всяким скотом; другая почти вплотную заставлена ятками, харчевнями, кабаками и навесами со всяким харчем и снедью. Здесь-то теснятся кружки играющих в свайку и орлянку, разгуливают шумными ватагами песельники, хлыновцы, барышники и цыгане. По полю там и сям носятся всадники, пробующие лошадей, или летят иноходцы в беговых дрожках и легоньких тележках. Кое-где виднеются группы конских любителей, продавцов и покупателей.

Приятели – портной Матюшка и товарищ его Севка – не успели еще продрагаться сквозь толпу, составлявшую ограду площади, как первый закричал что есть мочи:

– Эй, Севка! Поглядь-кась, никак вон тот самый мужик, что встрелся с нами на дороге... Ну, так так, он и есть... вон и пегая его кляча. Должно быть, не продал... Эй, Старбей! – продолжал он, обращаясь к Антону. – Как те звать, добрый человек?... Знакомый, аль знать не хочешь?.. Ну что, как бог милует?..

– Здравствуйте, братцы, – вымолвил Антон, подходя к портным вместе с другими двумя мужиками.

Новые товарищи Антона были приземистые рыженькие люди, очень похожие друг на друга; у обоих остроконечные красные бородки и плутовские серые глазки; синий дырявый

¹⁷ *Офеня* – коробейник, мелкий торговец.

армяк, опоясанный ремнем, вокруг которого болтались доспехи коновала, баранья черная шапка и высокие сапоги составляли одежду того и другого.

– Что невесел, словно мышь на крупу надулся, ась? – произнес Матюшка насмешливо.

– Како тут веселье, – отвечал печально Антон, рассеянно глядя в поле.

– Что ж, опять небось алтын не хватает?.. Знамо, без денег в город – сам себе ворог; жаль, брат, прохарчились мы больно, а то бы, вот те Христос, помогли, ей-богу, хоть тысячу рублей, так сейчас бы поверили... А то, вишь, на косяху не осталось, словно бык какой языком слизнул... право...

В толпе раздался хохот. В это время к Антону подошли два мужика: мука, обсыпавшая их шапки и кафтаны, давала тотчас же знать, что это были мельники.

– Послушай, братец ты мой, – сказал старший из двух, – что ж, говори последнее слово: продашь лошадь-то али нет?..

Рыженькие приятели перемигнулись между собою, дернули Антона потихоньку сзади и сказали шепотом: «Мотри, земляк, не отдавай, надуть хотят, не отдавай!»

– Да побойся хоть ты бога-то, – отвечал Антон мельнику, – побойся бога; Христов ты человек аль нет? Ну, что ты меня вертишь, словно махонького; ишь за каку цену хочешь лошадь купить...

– Оставь его, дядя Кондрат, – отозвался с сердцем товарищ мельника, – оставь, говорю; с ним и сам сатана, возившись, упарится; вишь, как он кобенится, часов пять и то бились, лошадь того не стоит; пойдем, авось попадем на другую, здесь их много...

– Вестимо, – отвечали в одно время рыженькие, – знамо, свет не клином сошелся; ступайте, вы лошадь найдете, а мы покупщика.

Старый мельник, казалось, с сожалением расставался с мыслию приобрести пегашку; он еще раз обошел вокруг нее, потом пощупал ей ноги, подергал за гриву, качнул головой и пошел прочь.

– Ишь, ловкие какие, – произнес один из рыженьких, – чего захотели, «атусбеш»¹⁸, то бишь... тридцать пять рублей, за лошадь дают... да за эвдаку животину и семьдесят мало...

– Эй, земляк, давай я лошадь-то куплю! – снова закричал Матюшка. – Не грусти; что голову повесил? Сколько спросил? Сколько хошь, столько и дам: чур, мотри, твои могарычи, а деньги за лошадь, как помру.

– Чего вы привязались ко мне? Ну, чего вам от меня надуть? – сказал с сердцем Антон и сделал шаг вперед. По всему видно было, что бедняга уже давным-давно вышел из себя и выжидал только случая выместить на ком-нибудь свою досаду.

Севка и Матюшка сделали вид, как будто испугались, и отскочили назад; толпа, расположенная к ним прибаутками, которые рассыпал Матюшка, заслонила их и разразилась громким, продолжительным хохотом. Ободренный этим, Матюшка высунул вперед черную кудрявую свою голову и заорал во все горло:

– Гей! Земляк всех избил в один синяк!.. Братцы, ребята, это, вишь, наш бурмистр, ишь какой мигач, во всем под стать пегой своей кобыле, молодец к молодцу... ворон, вишь, приехал на ней обгонять... Эй, эй! Фалалей, мотри, мотри, хвост-ат у клячи оторвался, ей-богу, право, оторвался... ей, го... го... го... го...

Антон в это время следовал за рыженькими своими приятелями, которые почти против воли тащили его на другой конец поля. К ним тотчас же подскочили три цыгана.

– Что, добрый человек, лошадь твоя?

– Моя.

– Продаешь?

¹⁸ Тридцать пять рублей на языке конских барышников и конокрадов. (Прим. автора.)

– Мотри не продавай, – снова шепнули Антону рыженькие, – народ бедовый, как раз завертят.

– Продаю, – отвечал нерешительно Антон и в то же время поглядел с беспокойством на приятелей.

Тогда один из цыган, дюжий, рослый мужчина в оборванных плисовых шароварах и синем длинном балахоне с цветными полотняными заплатами, подбежал к пегашке, раздвинул ей губы, потом поочередно поднял ей одну ногу за другой и, ударив ее в бок сапогом, как бы для окончательного испытания, сказал товарищам:

– Лачи грай, ян таранчинас, шпал, ды герой лачи! (Добрый конь, давайте, братцы, торговать, смотри: ноги хороши больно!)

– Мычынав курано (как будто старенька), – отвечали те, – а нанано – пробине, пробине (а все попробуем).

И все трое принялись осматривать лошадь. Разумеется, удары в бок, как необходимейшее условие в таком деле, не заставили себя дожидаться.

– Что сѳоит? – спросил первый цыган.

– Семьдесят рублей, – отвечали равнодушно и как бы из милости рыженькие спутники Антона, отводя его в сторону и принимаясь нашептывать ему на ухо.

Цыгане засмеялись.

– А саранда рубли крууг, де гаджо лове ватопаш, сыгуте лове? (А сорок рублей сѳоит, да мужик отдаст за половину: деньги у вас есть?) – сказал первый.

– Сы (есть), – отвечали те.

– Лачи (ладно). Ну, братцы, и ты, добрый человек, – продолжал тот, указывая на лошадь с видом недовольным, – дорого больно просишь; конь-то больно изъезжен, стар; вот и ребята то же говорят...

– Да чуть ли еще не с норовом, – подхватил цыган, глядя пегашке в зубы, – ишь, верхний-то ряд вперед выпучился... а ты семьдесят рублей просишь... нет, ты скажи нам цену по душе; нынче, брат, не то время, – корм коня дороже... по душе скажи...

– Сколько же, по-вашему? – спросил Антон.

– Да что тут долго толковать, мы в деньгах не постоим, надо поглядеть сперва ходу, как бежит... был бы конь добрый, цену дадим необидную... веди!

Рыженькие отвели Антона в сторону.

– Экой ты, брат... мотри не поддавайся... не купят, право слово, не купят, попусту только загоняешь лошадь и сам измаешься... говорим, найдем завтра покупателя... есть у нас на примете... вот уж ты сколько раз водил, не купили, и теперь не купят, не такой народ; тебе, чай, не первинка... – твердили они ему.

– Спасибо, родные, за доброе, ласковое ваше слово, да, вишь, дело-то мое захожее.

– Вот по той причине мы те и толкуем, на волоку и по волоку – надо дело рассуждать.

– Господь их ведает, может, и по честности станут цену давать; мне, братцы, така-то, право, тоска пришла, что хошь бы сбыть ее с рук скорей.

– Пожалуй, ступай себе; а только, право, попусту сходишь.

Антон взял пегашку под уздцы и, сопровождаемый цыганами, повел ее к стороне харчевен, откуда должен был, по обыкновению, начаться бег. Рыженькие пошли за ними. Пройдя шагов двадцать, они проворно обернулись назад и подали знак двум другим мужикам, стоявшим в отдалении с лошадьми, чтобы следовали за ними; те тотчас же тронулись с места и начали огибать поле; никто не заметил этих проделок, тем менее Антон. Видно было по всему, что он уже совсем упал духом; день пропал задаром: лошадь не продана, сам он измучился, измаялся, проголодался; вдобавок каждый раз, как являлся новый покупатель и дело, по-видимому, уже ладилось, им овладевало неизъяснимо тягостное чувство: ему становилось все жальче и жальче лошаденку, так жаль, что в эту минуту он готов был вернуться в Троскино

и перенести все от Никиты Федорыча, чтобы только не разлучаться с нею; но теперь почему-то заболело еще пуще по ней сердце; предчувствие ли лиха какого или что другое, только слезы так вот и прошибали ресницы, и многих усилий стоило бедному Антону, чтобы не зарыдать вслух.

– Эх, каман чорас грай, томар у девел чорас ме! (Эх, вот бы украл лошадь, убей меня бог, украл бы!) – сказал кто-то из цыган, когда пришли на место.

Тут стояли уже несколько человек с лошадьми; между ними находились и те, которым подали знак рыженькие.

– Ну, брат хозяин, садись на коня, – вымолвил первый цыган Антону, – поглядим, как-то он у тебя побежит... садись!..

Антон медленно подошел к пегашке, уперся локтями ей в спину, потом болтнул в воздухе длинными, неуклюжими своими ногами и начал на нее карабкаться; после многих усилий с его стороны, смеха и прибауток со стороны окружающих он наконец сел и вытянул поводья. Толпа, состоящая преимущественно из барышников, придвинулась, и кто молча, кто с разными замечаниями окружили всадника-мужика. В числе этих замечаний не нашлось, как водится, ни одного, которое бы не противоречило другому; тот утверждал, что конь «вислобокий», другой, напротив того, спорил, что он добрый, третий бился об заклад, что «двужильный», четвертый уверял, что пегая лошадь ни более ни менее как «стогодовалая», и так далее; разумеется, мнения эти никому из них не были особенно дороги, и часто тот, кто утверждал одно, спустя минуту, а иногда и того менее, стоял уже за мнение своего противника.

– Ну, теперь пушай ее... пушай! – закричало несколько голосов, и толпа ринулась в сторону.

Но усталая, измученная и голодная пегашка на тот раз, к довершению всех несчастий Антона, решительно отказывалась повиноваться пруканью и понуканью своего хозяина; она уперлась передними ногами в землю, сурово потупила голову и не двигалась с места.

– Конь с норовом... ан нет... ан да... О! Чего смотрите, черти!.. Она, вишь, умаялась: дай ей вздохнуть, вздохнуть дай!.. – слышалось отовсюду.

А Антон между тем употреблял все усилия, чтобы раззадорить пегашку: он то подавался вперед к ней на шею, то спускался почти на самый хвост, то болтал вдоль боков ногами, то размахивал уздечкой и руками; нет, ничего не помогало: пегашка все-таки не подавалась.

– Э... ге... ге... ге! – заметил цыган. – Да она, брат, видно, у тебя опоена, видно, на кнуте только и едет.

Антон удвоил усилия; пот выступил у него на лбу.

– Ну, ну, – бормотал он, метаясь на лошади как угорелый, – ну, дружок! Ну, дурачок!.. Э!.. Ну... эка животино... ну... ну... э!..

– Эй, брат!.. Ребята! Да вы проведите ее.

– Нет, зачем проводить... оставь... она и сама пойдет... дайте ей вздохнуть...

– А долго будет она так-то стоять? – сказал кто-то и без дальних рассуждений, подбежав к лошади, ударил ее так сильно в брюхо, что сам Антон чуть было не слетел наземь.

Толпа захохотала, а пегашка тем временем брыкнула, взвизгнула и понеслась по полю.

– Э! Взяла, взяла! Э! Пошла, пошла, пошла! Гей! Гей! Го-го-го! – послышалось со всех сторон.

Один из зрителей пришел в такой азарт, что тут же снял с себя кожух и, размахивая им с каким-то особенным остервенением по воздуху, пустился догонять лошадь.

– Ишь, прямо с копыта пошла, хорошо пошла, – произнес цыган, обращаясь к толпе.

– Николко, проста лашукр (ведь хорошо бежит).

– Урняла, целдари урняла! (Знатно скачет!) – отвечали те в один голос, глядя ей вслед, и закричали Антону: – Эй! Пусти ее во весь дух, пусти, небось... дыкло! дыкло! Посмотрим!

Рыженькие, казалось, того только и ждали, чтобы отъехал Антон; они подошли к двум мужикам-товарищам и переговорили.

Когда Антон вернулся назад, они уже стояли на прежнем своем месте, а товарищи их пододвинулись со своими лошадьми к цыганам.

– Ну, вот что, брат, – сказал первый цыган Антону, – семьдесят рублей деньги большие, дать нельзя, это пустое, а сорок бери; хошь, так хошь, а не хошь, так как хошь; по рукам, что ли? Долго толковать не станем.

Антон поглядел нерешительно на рыженьких. Те замотали головами.

– Нет, – сказал он печально, – нельзя, несходно...

– Братцы, что вам, лошадь, что ли, надо? – заговорили тотчас приятели рыженьких. – Пойдемте, поглядите у нас... уж такого-то подведем жеребчика, спасибо скажете... что вы с ним как бьетесь, ишь ломается, и добро было бы из чего... ишь, вона, вона как ноги-то подогнула... пойдемте с нами, вон стоят наши лошади... бойкие лошади! Супротив наших ни одна здесь не вытянет, не токмо что эта...

– А чего вы лезете! – перебил один из близ стоявших мужиков. – Нешто это дело – отбивать? Экие бесстыжие, совести нет; вишь, он продает, а вы лезете; завидно, что ли?.. Право, бесстыжие...

– А черт ли велит ему отмалчиваться? Коли продаешь, так продавай, что кобенишься? Да! Что буркалы-то выпучил, словно пятерых проглотил да шестым поперхнулся... отдавай за сорок... небось несходно?.. Отдавай, чего надседаешься...

– Нет, за сорок не отдам.

– Твоя воля, конь твой, – отвечал цыган, – ну, слушай последнее слово: сорок рублей и магарычи... хошь?

– Что мне магарычи? На кой мне их леший!..

– Узду в придачу!

– И узды не надуть.

– Эх вы, ребята, словоохотливые какие, право, – начали опять те, – видите, не хочет продавать – и только; и что это вы разгасились так на эвту лошадь? Мотрите, того и гляди, хвост откинёт, а вы сорок даете; пойдемте, вам такого рысачка за сорок-то отвалим, знатного, статного... четырехлетку... как перед богом, четырехлетку...

– Соле саракиресса, накамыл тебыкнел, авен, пшалы, не каман. (Ну, что с ним взаправду толковать, пойдемте, братцы; не хочет.) Ну, прощай, добрый человек, – сказал первый цыган. – Авен, авен, пшалы. (Пойдемте, пойдемте, братцы.)

Рыженькие тотчас же повели Антона в другую сторону.

– Ну вот, говорили мы тебе... как бишь те звать?

– Антоном.

– Э! Да у меня, брат, свояка зовут Антоном. Ну, ведь говорили мы тебе, не ходи, не продашь лошади за настоящую цену; э! захотел, брат, продать цыгану! Говорят, завтра такого-то покупщика найдем, барина, восемьдесят рублей как раз даст... я знаю... Балай, а Балай, знаешь, на кого я мечу?..

Балай кивнул головою, искоса поглядел на Антона и значительно подмигнул товарищу.

– Спасибо, братцы, за ваши добрые речи, – отвечал мужик, уныло потупляя голову, – да, вишь, дело-то мое захожее; куды я теперь пойду? Ночь на дворе.

– Куды пойдешь! Об эвтом, земляк, не сумлевайся... а мы-то на что ж?.. вот брат пойдет домой в деревню, а я остаюсь здесь: пожалуй, коли хочешь, пойдем вместе, я тебе покажу, где заночевать.

– У меня, братцы, ведь денег нету... вот беда какая! Думал лошадь продать, так...

– Эхва, беда какая! Мало ли у кого не бывает денег, не ночуют же в поле... я тебя поведу к такому хозяину, который в долг поверит: об утро, как пойдешь, знамо, оставь что-

нибудь в заклад, до денег, полушубок или кушак, придешь, рассчитаешься; у нас завсегда так-то водится...

– Когда ваше такое доброе слово, – отвечал Антон, – пойдете, братцы, авось господь милостив, завтра удастся продать лошаденку...

– Не сумлевайся, брат Антон, говорю, покупатель у нас есть знатный для тебя на примете; ты, вишь, больно нам полюбился, мужик-ат добре простой, неприквельный... хотим удружить тебе... бог приведет, встретимся, спасибо скажешь...

И все трое покинули площадь. Только что своротили они в переулок, как Балай распрощался с Антоном и, перемигнувшись еще раз с товарищем, исчез в толпе.

V Ночлег

«Ох, горе, мое горе, кручинное житье! – думал Антон, следуя медленным, нетвердым шагом за товарищем. – День прошел, да, видно, до нас не дошел, ишь вечеряет, а лошаденка все с рук не сошла; что станешь делать!.. Нет, знать, так уж господу богу угодно... погрешился я чем перед ним... охо, хо... Дома-то, дома у меня, чай, ждут, сердешные, не дождутся; не наболится у родимых сердечушко... Правда, напался человек добрый, сулил покупщика хорошего, да это когда еще, завтра!.. Заночевать, вишь, пришлось в чужой стороне промеж чужих людей, денег ни полушки, а дело захожее... Ну, а как завтра да опять не выйдет на мою долю счастья, лошади опять не продашь, а только пуще бед наживешь, и с тем домой вернешься... Никита просвету не даст тогда, долой с бела света стонит, совсем беда! Пропадем ни за что и я, и Варюха, да и ребятенки-то тож... охо... хо, горе мое, горе, кручинное житье!..»

День между тем зримо клонился к вечеру; солнце село; золотистые хребты туч, бледнея на дальнем горизонте, давали знать, что скоро и совсем наступят сумерки. Подошва горы, плоские песчаные берега, монастырь и отмели окутались уже тенью; одна только река, отражавшая круглые облака, обогранные последними вспышками заката, вырезывалась в тени алой сверкающей полосой. Осенний ветер повеял холодом и зашипел в колеях дороги. Время от времени он изменял свое направление, и тогда слышались с реки отрывистые крики народа, толпившегося на берегу и ожидавшего паромы, который чуть видимую точкой чернелся на более и более бледневшей поверхности воды, влача за собою огненную, искристую полосу света. Шум ярмарки умолкал; толпа в городе постепенно редела; скидывались ятки, запирались лари, лавки; купцы и покупатели расходились во все стороны, и все тише да тише становилось на улицах, на площади, между рядами телег, подвод, укутанных и увязанных на ночь в рогожи. Вниз по горе тишина делалась еще заметнее; тут исчезли уже почти все признаки ярмарки; кое-где разве попадался воз непроданного сена и его хозяин, недовольное лицо которого оживлялось всякий раз, как кто-нибудь проходил мимо, или встречалась ватага подгулявших мужиков и баб, которые, обнявшись крепко-накрепко, брели, покачиваясь из стороны в сторону и горланя несвязную песню.

Антон и рыженький его товарищ достигли уже подошвы горы, когда на одном из поворотов дороги должны были остановиться по случаю стечения народа. Они подошли ближе. На самом крутом уступе лежал замертво пьяный мужик; голова его, седая как лунь, скатилась на дорогу, ноги оставались на возвышении; коротенькая шея старика налилась кровью, лицо посинело... Присутствующие, которых было очень много, не помышляли, однако ж, поднимать его; иные, проходя мимо, замечали только: «Эк его раздуло!» или: «Ишь те как налился!» Большая часть зрителей не делали, впрочем, никаких замечаний: они глядели на него с каким-то притупленным любопытством, почесывали затылки и качали головами, как бы в душе соболезуя о злополучном землячке; но помощи никто решительно не подавал, никто даже не трогался с места. Антон принадлежал, должно быть, к последней категории; он постоял, покачал головою и готовился уже кликнуть своего товарища; но в эту самую минуту из толпы выскочил полный кудрявый детина в синем кафтане и с радостным восклицанием бросился обнимать его.

– Эхва!.. Антон! Как тебя бог милует? Подобру ли, поздорову? Вот не чаяли встретиться...

– Здорово, Митроха, – вымолвил Антон, ошеломленный несколько неожиданным приветствием, – как можешь...

Они обнялись и поцеловались. Встреча эта сильно озадачила рыженького; он суетливо подошел к Антону, дернул его за полу и шепнул: «Земляк, пора до фатеры, поздно, того и гляди, места не станет...»

– Шутка, дело какое! – продолжал Митроха. – Почитай что целый год не видались; ну что, брат Антон, как тебя перевертывает? Как поживаешь с хозяйкою и с ребятишками?..

– Ох, лучше и не спрашивай, плохе моего житья, кажись, на свете нет... мое житье самое последнее...

– Неужто все Никита проклятый досаждает?..

– Да, – отвечал печально Антон, – да; вот и теперь пришел, брат, сюда последнюю лошадь продавать, – велел!.. не знаю, что и будет; совсем, знать, пришло мое разоренье...

– Ой ли? Ну, брат, жаль, больно жаль мне тебя!.. А я, брат, на фабрике-то пооперился маненько; живу верстах в трех отсель на миткалевой фабрике... и хозяин такой-то, право, добрый достался, не в обиде живешь... Ну, расскажи-ка, братец ты мой, как поживают Стегней с женою? Он ведь свояк мне...

– А что им делается – хлебушка есть, живут ладно, по милости господней.

– Новую избу, говорят, поставили?

– Поставили.

– Так; ну, брат Антон, где ж ты остановился здесь?

– Вот тут... близехонько, – отвечал скороговоркою рыженький, – у самого перевоза на постоялом...

– Дай ему господь бог здоровья, – продолжал Антон, указывая земляку на рыженького, – встретился добрый человек... хочет провести на ночлег.

– Пойдем, Антон, – сказал тот, – пора, не опоздать бы нам, народу не подошло бы много с ярманки...

– Ну, ладно, – подхватил Митроха, – я к тебе завтра зайду на фатеру... как бог свят, зайду; ты, я чай, не больно рано пойдешь на ярманку... а мы до того времени перемолвим слово, покалякаем про своих... так-то, брат, я тебе рад, Антон, право, словно родному... инда эвдак сердце радуется, как случай приведет с земляком повидаться... Ну, прощай, брат, и мне пора ко двору, а завтра непременно зайду...

– Прощай, Митроха, заходи же, мотри...

– Ладно, ладно...

– Ну, братец, куда же нам теперь идти? – спросил Антон, когда земляк исчез за поворотом.

– Сойдем вниз, а там пойдем все по берегу, все по берегу, до самых кузниц.

– Далече?

– Эко ты наладил одно: далече да далече? Видишь перевоз?

– Вижу...

– Ну, коли видишь, так ладно; тут как раз будет тебе и постоялый двор... он прямо стоит за кузнями...

Движения, походка, лицо товарища Антона мгновенно изменились: теперь все уже показывало в нем человека довольного, даже торжествующего; серенькие плутовские глазки его насмешливо суживались и поочередно устремлялись то на мужика, то на пегашку; он стал разговорчивее; но в речах его уже не было той заботливости, той вкрадчивости, с какими прежде подъезжал он к Антону. Все произошло, однако, так, как говорил рыженький: вскоре они достигли перевоза, там поднялись по скользкому грязному берегу и вышли на пустынное поле, огражденное с одной стороны рядом черных, мрачных кузниц, которые неровною линиею спускались почти к самой воде.

Миновав кузницы, рыженький молча указал Антону на высокую избу, одиноко стоявшую на дороге и окруженную длинными навесами. Тем временем, как они к ней приближались, ночь окончательно обхватила небо и окрестности. Месяц вышел из-за туч и весело проглянул на небе. Антон обернулся назад и бросил взгляд к стороне города; там все уже стихло; редко, редко долетала отдаленная песня или протяжное понуканье запоздалого мужика, торо-

пившего лошадь. Где-то в стороне, далеко-далеко за рекою, слышался стук в чугунную доску деревенского караульщика. Он увидел реку, исчезавшую после многих изгибов в темноте, крутые берега, отделявшиеся от нее белым туманом, и черные тучи, облежавшие кругом горизонт. Луна скрылась; воцарился глубокий, непроницаемый мрак; подходя к избе, Антон едва-едва различил подводы, стоявшие у ворот. Шумный говор и свет, выходявший длинною полосой из окна, давали знать, что на постоялом дворе было довольно народу.

– Ну, вот и пришли, – сказал рыженький Антону, – веди лошадь в ворота; ладно; ставь ее вот сюда, под навес, да пойдем ужинать...

– Послушай, добрый человек, – произнес Антон, оглядывая с беспокойством постоялый двор и навесы, – послушай, мотри, не было бы лиха... не обидели бы меня... не увели бы лошаденки; я слышал, народ у вас в городах на это дело добре податлив...

– Эх ты! – воскликнул тот, ударив мужика по плечу. – Прямой ты, брат, деревенщина, пра, деревенщина; борода у те выросла, а ума не вынесла; ну, статочно ли дело? Сам порассуди, кому тут увести? Ведь здесь дворник есть, ворота на ночь запирают; здесь не деревня, как ты думаешь. Знамо дело, долго ли до греха, коли не смотреть, на то, вишь, и двор держат, а ты думаешь, для чего?..

– Оно так, – отвечал мужик, продолжая озираться на стороны, – вестимо так, а все словно думается...

– Что говорить, – начал рыжий, переменяв вдруг насмешливый тон на серьезный, – кто против того? Животину водить, не разиней ходить, это всякий знает... полно, земляк, полно; а ты взаправду опасешься, что ли?..

– Как перед богом, боюсь... добрый человек.

– Ну, коли так, привяжи ее пока здесь к столбу, а потом приходи сюда спать; я и сам с тобою лягу... пойдем выпьем по чарке винца, смерть прозяб... а там подкинем соломы да всхрапнем... ладно, что ли?..

– Ладно, коли твоя добрая душа будет...

– Привязал?

– Привязал...

– Мотри, привязывай крепче, чтоб не отвязалась неравно да не ушла...

– Нет, не уйдет...

– Пойдем.

Изба, в которую рыженький ввел Антона, была просторна; по крайней мере так показалась она последнему при тусклом свете сального огарка, горевшего на столе в железном корявом подсвечнике; один конец перегородки, разделявшей ее на две части, упирался в исполинскую печь с уступами, стремешками и запечьями, другой служил подпорою широким полатам, с которых свешивались чьи-то длинные босые ноги и овчина. За столом, под образами, сидели четыре человека и ужинали; подле них хлопотала хозяйка, рябая, встрепанная, заспанная баба.

– Хлеб да соль, братцы, – вымолвил рыженький, запирая дверь, – здравствуй, хозяйка!

– Хлеб да соль, – проговорил, в свою очередь, Антон, крестясь перед образами.

– Спасибо, – отозвались сидевшие мужики.

– Вам постоять, что ли? – грубо спросила дворничиха.

– И то тебя, вишь, не обходим, вот и товарища привел... ну, а хозяин где?

– Кто там?.. – послышалось сверху, и в то же время длинные ноги, висевшие с полатей, перевернулись и показали, что принадлежащее им туловище перевалилось на спину.

– Что там развалился, черт? – закричала сиповатым голосом хозяйка. – Ступай! Вишь, народ подошел...

На полатах послышалась зевота.

– О-о-о! Господи, господи, о-о! – бормотал хозяин, сползая по стремешкам печи вниз. – А! – воскликнул он, останавливаясь. – А! Здорово, рыжая борода!

Рыженький подал ему из-за спины Антона выразительный знак рукою. Хозяин тотчас же замолчал; закинув обе руки за шею, он потянулся, зевнул и продолжал лениво:

– Эк вы поздно как таскаетесь, люди спать давно полеглись; ну, а мужичок с тобой пришел?

– Со мной.

– Лошадь есть?

– Есть.

– Сенца надуть, что ли? – спросил хозяин Антона. – У меня сено знатное...

– Нет, – отвечал простодушно Антон, – сена не надо, я лошадь-то продавать привел: и так простоит, сердешная...

– Твоя на то воля... ужинать небось станете?

– Давай!..

– Такая-то беда у меня... малого своего отослал в Зименки... до сих пор не вернулся; сам за все и про все, – говорил хозяин, слезая наземь.

– А почему ужин? – рассеянно спросил рыженький.

– Известно, что тут толковать, лишнего не берем, что в людях, то и у нас: шесть гривен с хлебом.

– Ладно... Эй, хозяйка! Собирай скорей, смерть проголодались.

– Вам чего? Щей плехнуть, аль гороху вальнуть, аль лепеху с семенем? – спросила хозяйка.

– Давай что ни есть... Хозяин, а хозяин, нет ли, брат, винца?

– Как не быть... вам сколько?

– Что, Антон, голову-те повесил, вино есть, аль не слышишь? Выпьем, говорю, завтра знатный будет день. Хозяин, давай штоф!..

Когда дворник вышел, рыженький повертелся еще несколько минут подле печки и шмыгнул в двери. Это было сделано так ловко, что Антон ничего не заметил; он снял с себя полушубок, повесил его на шесток, помолился богу, сел за стол и в ожидании ужина принялся рассматривать новых своих товарищей. Двое из них немного погодя встали, перекрестились и молча улеглись на нары, занимавшие целую стену избы. Антон увидел, что тут спало еще несколько человек мужиков. Из оставшихся двух за столом один особенно привлек внимание нашего мужика. Это был толстенький, кругленький человек, с черною окладистой бородкой, плоскими маслястыми волосами, падавшими длинными космами по обеим сторонам одутловатого, багрового лица, отличавшегося необыкновенным добродушием; перед ним на столе стояла огромная чашка каши, деревянный кружок с рубленой говядиной и хрящом и миска с лапшой; он уписывал все это, прикладываясь попеременно то к тому, то к другому с таким рвением, что пот катился с него крупными горошинами; слышно даже было, как у него за ушами пищало. Антон первый прервал молчание.

– Вы отколе? – спросил он.

Мужик встряхнул головою, устремил на него оловянные глаза и, проглотив кашу, мешавшую ему закрыть рот, отвечал:

– Сдалече: ростовские.

– Господские?

– Барские...

– Большая вотчина?

– Большая...

Тут хозяйка поставила перед ним чашку тертого гороху; мужичок принялся за него с тем же ничем не сокрушимым аппетитом и уже ничего не отвечал на вопросы Антона. Скоро вернулся рыженький с штофом вина, сел подле товарища, и оба принялись ужинать. Немного погодя явился и сам хозяин.

- А ты ехать собрался, что ли? – спросил он у мужичка, сидевшего рядом с ярославцем.
- Да, мне пора, – отвечал тот, подтягивая кушак, – до свету надо быть дома.

Антон мгновенно поднял голову, поглядел на него, вздохнул и перестал есть. Хозяин снял с полки счеты и подошел к отъезжавшему вместе с хозяйкой.

- Щи хлябал?
- Хлябал.
- Кашу ел?
- Ел.
- Масло лил?
- Лил.
- Сорок копеек, – произнес отрывисто хозяин, шелкнув костями.

Мужик расплатился, помолился перед образами и, поклонившись на все четыре стороны, вышел из избы. В то время толстоватый ярославец успел уже опорожнить дочиста чашку тертого гороху. Он немедленно приподнялся с лавки, снял с шеста кожух, развалил его подле спавшего уже товарища и улегся; почти в ту ж минуту изба наполнилась его густым, протяжным храпением. Дворничиха полезла на печь. В избе остались бодрствующими рыженький, Антон и хозяин.

– Хозяин! – начал первый, прислушавшись прежде к шуму телеги отъехавшего мужика. – Подсядь-ка, брат, к нам, не спесивься; вот у меня товарищ-ат что-то больно приуныл, есть не ест и пить не пьет; что ты станешь с ним делать...

– Ой ли? – произнес хозяин, подходя к столу. – Ну, давай... как бишь звать-то тебя?.. Пантелеем, что ли?

– Антоном...

– Давай, брат Антон, я выпью... да ты-то что? Э! полно, чего кобенишься, пра, выпей, вино у меня знатное, хошь пригубь...

Антон выпил.

– Не то, братцы, на разуме у меня; так разве со стужи, – произнес он, крикнув и обтирая бороду.

– Пей, не робей, – вскрикнул рыженький, перемигиваясь с хозяином... – Ну-кась, брат, со стужи-то еще стаканчик...

– Спасибо... много доволен...

– Э! Что за спасибо! Пей, сколько душа примет... знамо, первая чарка колом, вторая соколом, а третью и сам позовешь; пей; душа меру, брат, знает... а там и спать пойдём...

– Под навес? – спросил Антон, глаза которого начинали уже разгораться.

– Вестимо, что под навес... вот добрый хозяин и соломки даст... да пей же, брат, пей без опаски... хлеб ешь?

– Ем.

– Ну, а разве вино не тот же хлеб! Маненько только пожиже будет... валяй! Ну, экой, право, приквельной какой, долго думать, тому же быть...

– Для ча не выпить, когда добрый человек подносит, – подхватил хозяин. – От эвтого, брат Антон, зла не будет... пей за столом, говорят добрые люди, да не пей, мотри, только за углом...

Антон выпил еще стакан.

– Братцы! – произнес он вяло и принимаясь тереть лицо, лоб и щеки, с которых катился крупными каплями пот. – Братцы, пра, пора... вот те Христос... домой пора бы. Варвара-то... э! Варвара... братцы...

– погоди... поспеешь еще... – отвечал рыженький, наливая еще стакан, – вот выпей наперед, выпей, слышь, последний выпей... на стужу идешь...

– Пейте скорее, ребята, и мне пора спать... чай, полночь давно на дворе... – вымолвил хозяин, зевая и потягиваясь.

Антон осушил стакан бычком и почти в ту же минуту повалился, как сноп, на лавку...

– Спит? – спросил поспешно хозяин у рыженького, который уже нагнулся к Антону и слушал.

– Хоть кол на голове теши, не услышит! – отвечал тот, выпрямляясь и махнув рукою.

Оба засмеялись. Рыженький подошел к столу, выпил оставшуюся в штофе водку, взял шапку и стал поочередно оглядывать спавших на нарах; убедившись хорошенько, что все спали, он задул свечу и вышел из избы вместе с хозяином...

VI Пегашка

Время подходило уже к самому рассвету, когда толстоватый ярославец был внезапно пробужден шумом в избе. Открыв глаза, он увидел стол опрокинутым; из-под него выползал на карачках Антон, крестясь и нашептывая: «Господи благослови, господи помилуй, с нами крестная сила...»

– Что, брат, с тобою?.. Эй, что ты? – спросил мужичок, соскакивая с нар и принимаясь трепать Антона по плечу. – Эк ты меня испужал; словно «комуха»¹⁹, вот так и трясет меня всего...

– Господи благослови... ох!.. Насилу отлегло... – выговорил Антон, вздрагивая всем телом, – ишь, какой сон пригрезился... а ничего, ровно ничего не припомню... только добре что-то страшно... так вот к самому сердцу и подступило; спасибо, родной, что подсобил подняться... Пойду-ка... ох, господи благослови! Пойду погляжу на лошаденку свою... стоит ли она, сердешная...

Антон снова перекрестился и поспешно вышел из избы. Мужик сел на нары и начал мотать онучи.

Шум, произведенный Антоном, разбудил не одного толстоватого ярославца; с полатей послышались зевота, оханье, потягиванье; несколько босых ног свесилось также с печки. Вдруг на дворе раздался такой пронзительный крик, что все ноги разом вздрогнули и повскакали наземь вместе с туловищами. В эту самую минуту дверь распахнулась настезь, и в избу вбежал сломя голову Антон... Лицо его было бледно, как известь, волосы стояли дыбом, руки и ноги дрожали, губы шевелились без звука; он стоял посередь избы и глядел на всех страшными, блуждающими глазами.

– Что там? – отозвалась хозяйка, просовывая голову между перекладинами полатей.

– Что ты?.. Эй, сват!.. Мужичок... дурманом прихватило, что ли?.. Эк его разобрало, – заговорили в одно время мужики, окружая Антона.

– Что ты всех баламутишь? – произнес грубо хозяин, оттолкнув первого стоявшего перед ним мужика и хватая Антона за рубаху. – Да ну, говори!.. Что буркалы-то выпучил...

– Увели!.. – мог только вскрикнуть Антон. – Лошаденку... ей-богу... кобылку пегую увели!..

– Ой ли?.. Братцы... ишь, что баит... долго ли до греха... э-э-э!..

И все, сколько в избе ни было народу, не исключая даже Антона и самого хозяина, все полетели стремглав на двор. Антон бросился к тому месту, куда привязал вечер пегашку, и, не произнося слова, указал на него дрожащими руками... оно было пусто; у столба болталась одна лишь веревка...

– Взаправду увели лошадь! Ишь вот, вот и веревка-то разрезана, ножом разрезана... и... и... и... – слышалось отовсюду.

Антон ухватился обеими руками за волосы и зарыдал на весь двор.

– Братцы, – говорил бедный мужик задыхающимся голосом, – братцы! Что вы со мною сделали?.. Куды я пойду теперь?.. Братцы, если в вас душа есть, отдайте мне мою лошаденку... куды она вам?.. Ребятишки, вишь, у меня махонькие... пропадем мы без нее совсем... братцы, в Христа вы не веруете!..

Ничто не совершается так внезапно и быстро, как переходы внутренних движений в простом народе: добро ряд об ряд с лихом, и часто одно венчается другим почти мгновенно. Почти

¹⁹ Лихорадка, по-ярославски. (Прим. автора.)

все присутствующие, принявшие было горе Антона со смехом, теперь вдруг как бы сообща приняли в нем живейшее участие; нашлись даже такие, которые кинулись к хозяину с зардевшими, как кумач, щеками, со сверкающими глазами и сжатыми кулаками. Толстоватый ярославец горячился пуще всех.

– Ты, хозяин, чего глядел! – вскричал он, подступая к нему. – Разве так делают добрые люди? Нешто у тие постоялый двор, чтобы лошадей уводили?.. нет, ты сказывай нам теперь, куда задевал его лошадь, сказывай!..

– Да ты-то, тие, тие... охлестыш ярославский пузатый, – возразил не менее запальчиво хозяин, – мотри, не больно пузырьрся... что ко мне приступаешь? Мотри, не на таковского наскочил!..

– Вестимо, вестимо, – заговорили в толпе, – он тебе дело баит; сам ты, мотри, не скаль зубы-те! Нешто вы на то дворы держите? Этак у всех нас, пожалуй, уведут лошадей, а ты небось останешься без ответа.

– Да что вы, ребята, – отвечал хозяин, стараясь задобрить толпу, – что вы, взаправду: разве я вам сторож какой дался! Мое дело пустить на двор да отпустить, что потребуется... А кто ему велел, – продолжал он, указывая на Антона, – не спать здесь... Ишь он всю ночь напролет пропил с таким же, видно, бесшабашным, как сам; он его и привел... а вы с меня ответа хотите...

– Братцы! – закричал Антон, отчаянно размахивая руками. – Братцы, будьте отцы родные... он, он же и поил меня... вот как перед богом, он, и тот парень ему, вишь, знакомый... спросите хошь у кого... во Христа ты, видно, не веруешь!..

– Ребята, – вымолвил ярославец, – я сам видел, как он вечер поил его... право слово, видел...

– А нешто я отнекиваюсь? Пил с ними; да, позвал меня товарищ, сам подносил; ну и пил...

– Да ты его знаешь... того, рыженького-то? Что прикидываешься!

– А отколь мне знать его? Эка леший! Нешто у меня здесь мало всякого народу перебывает! Так мне всех и знать... я его впервинку и в глаза-то вижу... да что вы его, братцы, слушаете? Может, лошадь-то у него крадена была... вы бы наперед эвто-то разведали.

– Братцы, кобылка, как перед господом богом, девятый год у меня стоит... спросите у кого хотите...

– Да, ишь, ловок больно! А у кого они спросят? Экой прыткой какой! – заметил хозяин.

– Что мне теперь делать? Что делать, братцы? – воскликнул снова бедный мужик, ломая руки.

– Слушай, брат, как бишь тебя?..

– Антон, родимый... как перед господом богом, Антон.

– Ну, хорошо; слушай, Антон, – сказал ярославец, выступая вперед, – коли так, вот что ты сделай: беги прямо в суд, никого не слушай, ступай как есть в суд; ладно; сколько у те денег-то?..

– Ни полушки нетути, касатик, то-то и горе мое; кабы деньги были, так разе стал бы продавать последнюю лошаденку... Нужда!..

– Как! У тебя денег нету? – возразил хозяин, разгорячаясь. – Ах ты, мошенник! так как же ты приходишь на постоя?.. Ты, видно, надуть меня хотел... Братцы! Вот вы за него стояли, меня еще тазать²⁰ зачали было... вишь он какой! Он-то и есть мошенник...

– Тебе, я чай, сказывал рыженький... ах он... Господи! Чем погрешился я перед тобою? – произнес Антон, едва-едва держась на ногах.

²⁰ Тазать – бранить.

– Да, теперь отвергиваться да на другого сваливать станешь... Ах ты, бездельник! Да я сам пойду в суд, сам потащу тебя к городничему; мне и приказные-то все люди знакомые и становой!..

– Полно, хозяин, ты, может, напраслину на него взводишь, ишь он какой мужик-ат простой, куды ему чудить! И сам, чай, не рад, бедный; может, и сам он не ведал, с каким спознался человеком... – слышалось в толпе.

Но хозяин и слышать не хотел; сколько ни говорили ему, сколько ни увещевал его толстоватый ярославец, принимавший, по-видимому, несчастье Антона к сердцу, он стоял на одном. Наконец все присутствующие бросили дворника, осыпав его наперед градом ругательств, и снова обратились к Антону, который сидел теперь посередь двора на перекладине колодца и, закрыв лицо руками, всхлипывал пуще прежнего.

– Слушай, брат Антон, – начал один из них, – не печалься добре; гореваньем лошади не наживешь; твоему горю можно еще пособить; этакое дело не впервинку случается; слушай: ступай-ка ты прямо, вот так-таки прямо и беги в Заболотье... знаешь Заболотье?

– Нет, кормилец, не знаю: я не здешний.

– Ну, да нешто... ступай все прямо по большой дороге; на десятой версте, мотри, не забудь, – на десятой, сверни вправо, да там спросишь... Как придешь в Заболотье-то, понавдайся к Ильюшке Степняку... там тебе всякий укажет...

– Полно, кум, что баишь пустое! Ну, зачем пойдет он в Заболотье? Тут вот, может статья, и ближе найдешь свою лошадь... Послушай, брат Антон, ступай помимо всех в Спас-на-Журавли, отсель всего верст двадцать станет... я знаю, там спокон века водятся мошенники... там нагдысь еще накрыли коноводов... ступай туда...

– А как туда пройти-то, касатик?..

– Как выйдешь за заставу, бери прямо по проселку влево; там тебе будет село Завалье; как пройдешь Завалье-то, спроси Селезнев колодезь...

– Эка, а Кокино-то и забыл... – заметил кто-то.

– Да, как пройдешь Завалье, спроси Кокинску слободу; обмолвился было маненько, ну, да нешто... а из Селезнева колодца пройдешь прямо в Спас-на-Журавли... вотчина будет такая большая...

– Дядя Михека, а дядя Михека, – перебил высокий и плешивый мужик, придвигаясь медленно к говорившему.

– Ну, что?

– А вот послушай ты меня, старика, что я тебе скажу...

– Ну...

– Право слово, ему податнее будет сходить в Котлы... вот как бог свят, податнее... Антон, право слово, ступай в Котлы; оно, что говорить, маненько подалье будет, да зато, брат, вернее; вот у нас наемдни у мужичка увели куцега мерина, и мерин-ат такой-то знатный, важнеющий, сказывали, в Котлах, вишь, нашли...

– Э! Эка ты проворный какой! Ну куда ты его за семьдесят-то верст посылаешь...

– А что? Пойдет и за двести, коли лошади не отыщет, – ответил тот с чувством оскорбленного самолюбия.

– Полно, Антон, ступай, говорю, в Спас-на-Журавли; там как раз покончишь дело...

– И то ступай в Спас-на-Журавли! – закричали многие, – в Спас-на-Журавли ступай!

– Да, как бы не так, – возразил сурово хозяин, – я небось так вот и отпущу его вам в угоду... он у меня пил, ел, а я его задаром отпущу; коли так, ну-ткась, ты хорохорился за него пуще всех, ну-кась заплати... Что?.. А! Нелюбо?..

– Что?..

– А вот то-то – теперь что? Что?..

– Что мне тебе дать... – сказал Антон, поспешно вставая, – бери что хочешь, бери, не держи только...

– Давай полушубок!

– Бери, господь с тобою...

– Так-то сходнее; придешь опять – отдам, не то пришли из деревни девять гривен... за постой да за ужин...

– Ах ты, алочный человек! Пра, алочный! Жалости в тие нет... – сказал ярославец. – Ишь, на дворе стужа какая... того и смотри, дождь еще пойдет... ишь, засиверило, кругом обложило; ну, как пойдет он без одежды-то? Ему из ворот, так и то выйти холодно...

– А мне что, он пил, ел...

– Тебе что! Эх ты...

– Да ты-то что! Отдай ему свой полушубок, коли жалеешь...

– А я в чем пойду?

– Ну, вот то-то и есть; и всякой хлопочет, себе добра хочет...

– Куда же мне идти теперь? – перебил Антон, отдавая полушубок хозяину.

– Ступай в Спас-на-Журавли! – закричало несколько голосов.

– Как выйдешь за заставу, бери прямо по проселку вправо... не забудь, Завалье, так Кокино...

– Спасибо... отцы мои... спасибо... – бормотал Антон, выбегая без оглядки на улицу.

– Ступай все прямо... ступай!.. – кричали ему вслед мужики, выходя также за ворота. – Ступай, авось лошадь найдешь...

– А вряд ли ему найти, – заметил кто-то, когда Антон был уже довольно далеко, – ведь денег у него нету...

– Ой ли? И то, и то... где ж тут найти! Попусту только измается, сердешный...

– Ну, да пушай его поищет, авось как-нибудь и набредет на след... без денег, вестимо, плохо... да во всем милость божия...

– Дядя Федосей, найдет он лошадь аль нет?

– Как тут найдешь, черта с два найдешь; слышь, денег нету... напрасно набегаются...

В это время Антон остановился у берега и крикнул:

– А куды пройти к заставе?

– Ступай, ступай все прямо по горе, мимо острога... ступай на гору, ступай вверх по горе... – отвечали мужички в один голос...

И долго еще продолжали они таким образом кричать ему вслед; Антона и вовсе не было видно; уже давным-давно закрыла его гора, а они все еще стояли на прежнем месте, не переставая кричать и размахивать на все стороны руками.

VII Росказыни

Наконец-то мало-помалу мужички успокоились; кто сел на лавочку подле ворот, а кто на завалинку. Пошли толки да пересуды о случившемся. Хозяин присоединился к ним как будто ни в чем не бывало; сначала, однако, не принимал он ни малейшего участия в росказнях, сидел молча, время от времени расправлял на руках полушубок Антона, высматривая на нем дырья и заплаты, наконец свернул его, подложил под себя и сел ближе, потом слово за словом вмешался незаметно в разговор, там уже и заспорил. Кончилось тем, что не более как через полчаса все присутствующие, не выключая и тех, которые более других бранили дворника, согласились с ним во всем и чуть ли даже не обвинили кругом бедного Антона. Сам толстоватый ярославец, принявший было так горячо сторону обиженного, и тот начал понемногу подаваться...

– Знамо, что говорить, – сказал он примирительным тоном хозяину, – кто его знает, что он за человек? В чужой разум не влезешь... да ведь разве я тебя тазал когда?.. Когда я тебя тазал?.. Я к слову только молвил, к полушубку; мужика-то жаль добре стало... ишь, стужа... а я тебя не тазал, за что мне тебя тазать?..

– Известно, братец ты мой, надо настоящим делом рассуждать, – отозвался седой старик, – за что ему на тебя злобу иметь, за что? (Он указал хозяину на ярославца.) Он ему не сват, не брат... может статья, так, слово какое в пронос сказал, а ты на себя взял; что про то говорить, может, и взаправду конь-то у него краденый, почем нам знать? Иной с виду-то таким-то миряком прикидывается, а поглядишь – бядовый! вор какой али мошенник...

– Как не быть! Всяк случается, братец ты мой, – начал опять ярославец, – ты не сердчай... Вот, примерно, – прибавил он после молчка, – у нас по соседству, верстах этак в пяти, и того не станет, жил вольный мужик, и парень у него сын, уж такой-то был знатный, смиренный, работающий, что говорить, на все и про все парень!.. С достатком и люди-те были... Об лето хаживали, вишь, они по околотку, и у нашего барина были, крыши да дома красили, тем и пробавлялись; а в зимнее дело либо в осенину ходили по болотам, дичину всякую да зайцев стреляли; кругом их такие-то всё болота, и, и, и! страсти господни! пешу не пройтить! Вот какие болота! Ну, хорошо; и говорю, мужички богатые были, не то, примерно, голыши какие... К ним господа езжали, и наш барин бывал, другой день поохотиться приедет, знамо, дело барское, ину пору позабавиться... Старик-ат куды, сказывают, горазд был знать места, где дичина водилась; куда, бывало, поедет, руками загребай; вот по эвтой-то причине господа-то... да, ну хорошо. Молодык, сын-ат, слышите, братцы, такой-то парень был, что, кажись, во всем уезде супротив ни одному не вытянуть... куды смиренный, такой-то смиренный... хорошо, вот, на бяду, спознаться ему с солдаткой из Комарева; знамо, дело молодое! а уж она такая-то забубенная, озорная баба, бяда! Ну хорошо, стакнулись, согласились, живут, то есть, выходит, примерно, по согласью живут. Вот, братцы, раз этак под утро приезжают к ним три купца: также поохотиться, видно, захотели; ну, хорошо; парнюха-то и выгляди у одного из них невзначай книжку с деньгами; должно быть, они с ярманки или базара какого к ним завернули; разгорелось у него сердце; а парень, говорю, смиренный, что ни на есть смиренющий; скажи он сдуру солдатке-то про эвти деньги, а та и пошла его подзадоривать, пуще да и пуще, возьми да возьми: никто, мол, Петруха, не узнает... А какой не узнает! Где уж тут не узнать...

– Как не узнать!.. Вона дело-то какое... э-э! Ишь, проклятая!.. ишь, чего захотела... э! – заговорили в одно время слушатели, качая головами.

– Ну хорошо, – продолжал ярославец, – как начала она его так-то подзадоривать, а парень, знамо, глупый, дело молодое, и польстись на такое ее слово; она же, вишь, сам он опосля рассказывал, штоф вина ему принесла для куража, а может статья, и другое что в штофе-то было, кто их знает! Туман какой, что ли! Ну, поснедали купцы, запалили ружья, да и пошли в лес;

взяли с собой и парня, Петруху-то; ну хорошо. Вот, братцы вы мои, и залучи он того, с деньгами, в трущобу, вестимо ради охоты... Пришли. Как закричит Петруха-то на зайца, тот сердешный купец и кинулся; как кинулся-то он, а Петруха-то тем временем как потрафит да как стрелнет ему в спину, так, сказывали, лоском и положил купца, зараз потерял человека...

– Э!.. О!.. Воно оно... ишь!.. Эка грех какой!.. – отозвалось несколько голосов.

– Ну хорошо, – продолжал ярославец, – сам, братцы, сказывал опосля Петруха... самому, говорит, так-то стало жалко, ужаси, говорит, как жалко, за что, говорит, потерял я его; а как сначала-то обернулся купец-ат, говорил Петруха, в ту пору ничего, так вот сердце инда закипело у меня, в глазах замитусило... и не знать, что случилось такое... знать, уж кровь его попугала... Ну хорошо, как повалился купец, Петруха по порядку, как следно, взял у него деньги, закопал их в землю, да и зачал кричать, словно на помощь, примерно, зовет, кричит: застрелился да застрелился! Стало, уж так недобрый какой обошел его; пришли два других купца; прибежали, спрашивают Петруху... а тот и замялся, сробел, сердешный... Осмотрели они купца, видят, что спина у него опалена; глядят, дело неладно, обшарили – и денег нетути; так да саяк, взяли они Петруху, тогда сам, вишь, дался, в неправде-то бог, знамо, запинаят, скрутили да в острог и посадили; в нашем остроге и сидел... Так вот, братцы, како дело вышло, а парень, говорю, что ни на есть смиряющийся, хороший парень, ловкий такой...

– Ну, а чем же, брат, дело-то покончилось? – спросили несколько человек.

– Дело-то чем покончилось?.. А вот чем: сидит так-то год целый Петруха в остроге... ладно; а отец, старик-ат, тем временем хлопотать да хлопотать, много и денег передавал, сказывают... ну, совсем было и дело-то уладил, ан вышло и бог знает как худо. Солдатка-то Петрухина повадилась опять, вишь, к нему таскаться; уж как угодила она, леший ее знает, а только в острог к нему таскалась. Ходила, ходила, да и выведай от него, недобрая мать, про деньги-то! Простой был парень; он сдуру-то и поведай ей то место, куды закопал их; известно, может, думал, пропадут задаром, так пусть же лучше ей достанутся; хорошо; как получила она себе деньги, и пошла дурить, то есть чего уж ни делала! Что ни день, бывало, платки у нее да шелки, прикрасы всякие, то есть цвету такого нет в поле, какие наряды носила, вот как! Знамо, бабье дело: чем бы деньги-то приберечь, припрятать, а она гремит их на весь свет... Что то за диво? – думали в Комареве. – Отколь валит такое у Матрешки? Таракали, таракали, хват да хват, спросы да расспросы, туда-сюда, да и довелись: все рассказала, где взяла, откуда и как достались... Дело и спознали... тут, как уж потом ни бился старик отец, ничего не сделал; денег-то, знамо, уж не было у него в ту пору, все растуторил, роздал, кому следует... так и осталось... Заковали Петрушку в кандалы и погнали в Сибирь... Я помню, как и отправляли-то его, сердешного, довелось видеть... народу-то!.. и, и, и!.. видимо-невидимо... право, так инда жаль его стало; парень добре хороший был...

– Ну, а отец что?

– Да, сказывают, прошлу зиму помер...

– Ишь оно дело-то какое; какой грех на душу принял: польстился на деньги, – заметил старик. – А что, братцы, он ведь это неспроста? Помереть мне на этом месте, коли спроста...

– Знамо, что неспроста, – подхватил другой глубокомысленно, – надо настоящим делом рассуждать; разве по своей воле напустит на себя человек тако лихоимство? Шуточно ли дело, человека убить! Лукавый попутал!..

Во время этого разговора к воротам постоялого двора подъехала телега; в ней сидели два мужика: один молодой, парень лет восемнадцати, другой – старик. Последний, казалось, успел уже ни свет ни заря заглянуть под елку и был сильно навеселе.

– Ребята! Эй, молодцы! – кричал он еще издали, размахивая в воздухе шапкою. – Хозяин! Можно постоять до ярманки?

– Ступайте, – откликнулся хозяин, – на то и двор держим, ступайте...

Он отворил ворота и ввел приезжих под навес.

Вскоре хмельной старичишка и молодой парень, сопровождаемые хозяином, подсели к разговаривающим.

– Про что вы тут толмачите, молодцы? – спросил старикашка, оглядывая общество своими узенькими смеющимися глазками; тут приподнял он шапку и, показав обществу багровую свою лысину, окаймленную белыми как снег волосами, посадил ее заливчатски набекрень.

Присутствующие разразились громким единодушным смехом.

– Ишь, балагур старик какой! Ай да молодец! А ну-ткась, тряхни-ка стариной! У, у! – посыпалось со всех сторон.

– Ой ли? – произнес старик, подпираясь в бока и пускаясь в пляс. – Ой ли? Аль не видали?..

– Полно, батюшка, – сказал сердито молодой парень, удерживая его, – эк на старости лет дуришь, принес свою бороду на посмешище городу; полно...

– А что ж, – отвечал тот, силясь вырваться из рук сына. – Ах ты такой-сякой... я ж те, не замай... пфу!.. Да ну те к нечистому, плюньте на него, ребятушки... давайте сядемте-ка... рассказывай ты, рыжая борода, о чем вы тут таракаете?..

– А вишь, нынешнюю ночь увели отсель у мужичка лошадь... – отвечал кто-то, думая вызвать этим известием хмельного старичка на потеху.

– Эхва! Увели... ну, а где ж он сам-ат? В кабачище, чай, косуху рвет с горя?..

– Да, как же, в кабаке... побежал, вишь, ее разыскивать...

– Эй, Ванюха, чертова кукла! – вскричал старичишка, обращаясь мгновенно к сыну, который, казалось, очень был недоволен шутками отца. – Мотри, уж не тот ли это мужик... Вот, ребятушки, – продолжал он, оскаливая свои беззубые десны и заливаясь хриплым смехом, – не будет тому больно давно, повстречали мы за заставой мужичка... такой-то чудной... так вот и бежит и бежит по полям, словно леший его гонит... «Поглядь-ка, говорю, Ванюша, никак мужик бежит по пашне». – «И то, говорит, бежит...» Поглядели... бежит, так-то бежит, и, и, и! и давай кричать: «Эй, погоди, постой!..» Куды те, дует себе, не докличешься!.. Уж такой-то, право, мужик любопытный! Пра, любопытный!.. Должно быть, он...

– Он, он и есть... он... – отозвалось несколько голосов.

Старик ухватился под бока, и все туловище его закачалось от хриплого прерывистого хохота. Тут разговор сделался общим; несколько человек, увлеченные сочувствием к старичку-балагуру, тотчас же принялись рассказывать ему в один голос все подробности происшествия ночи.

Между тем занялось утро; окрестности мало-помалу пробудились; по скату горы снова потянулись подводы, забелели палатки, запестрел народ. Паром, нагруженный возами и мужиками, задвигался по реке, противоположный берег которой заслонялся совершенно серым мутным туманом; в кузницах подле постоянного двора загудели меха, зазвенело железо. Ярмарка снова начиналась, кому на горе, а кому и на радость. В самое короткое время двор наполнился постояльцами, приехавшими из заречья; кое-кто из пешеходов подходил и со стороны города. Последние располагались кучками подле ворот и вокруг избы; в числе их особенно много было баб-проходимок, богомолок, нищих. Между последними нельзя было не заметить Архаровны. Она, по-видимому, не принадлежала ни к какой кучке и одиноко бродила туда и сюда. Никто из присутствующих не знал побирушки; но одна ее одежда, состоящая на этот раз исключительно из лохмотьев, связанных узлами и укутывавших ее с головы до ног, так что снаружи выглядело только сморщенное, темное лицо старухи и несколько пучков серых, желтоватых волос, в состоянии уж была обратить на себя всеобщее внимание. К тому также немало способствовали: сапоги вместо лаптей, непомерно длинная суковатая клюка, а наконец, и широкая сума, набитая вплотную и которую Архаровна держала на сторбленной спине своей так же свободно, как любой бурлак. Три молодых парня, стоявшие у ворот, были первые, которые ее заметили.

– Ишь, – сказал один, – вот так старуха; ну уж, баба-яга, подлинно что баба-яга.

– Да, – подхватил другой, – повстречаться с такой-то ночью, так испугаешься: подумаешь, нечистого встретил...

– Ишь, старая, старая, – продолжал насмешливо третий, – а шутка каку штуку наворошила себе на спину... и нашему брату не под коготу...

Архаровна подошла, припадая с одной ноги на другую, к окну избы, постучалась легонько по раме клюкою и произнесла жалобно нараспев:

– Кормилицы наши, батюшки, подайте милостинку во имя Христо-о-во...

Окно отворилось, из него высунулось рябое лицо дворничихи.

– Бог подаст, много вас здесь шляндает... ступай-ка, ступай... – сказала она грубо и без дальних рассуждений захлопнула окно.

Архаровна перекрестилась, потупила голову и подошла тем же точно порядком, припадая и прихрамывая, к толпе, стоявшей у ворот.

– Что, бабушка, – сказал один из молодых парней, ударяя ее по плечу, – умирать пора!..

– Ась, касатик?..

– Умирать пора, что шляешься...

– По хлебушко, кормилец, хлебушка нетути...

– А вон это что у тебя в мешке? Ишь, туго больно набито, – заметил он, подходя ближе и протягивая руку, чтобы пощупать суму; но старуха проворно повернулась к нему лицом и никак не допустила его до этого.

Другой молодой парень, стоявший поблизости, ловко подскочил в это время к ней сзади, и та не успела обернуться, как уже он обхватил мешок обеими руками и закричал, надрываясь от смеха:

– Старуха, мотри, эй, крупа-то высыпалась... право, на дне прореха... дорогой, того и гляди, всю раструсишь...

– Оставь!.. Каку тут еще крупу нашел... – бормотала сердито Архаровна, стараясь высвободить мешок из рук парня, – экий пропастный, полно, оставь...

Но парень одним поворотом руки бросил суму наземь, повернул старуху и указал ей на прореху, из которой в самом деле сыпалась тоненькою струею крупа.

– Ахти!.. батюшки!.. – крикнула старуха, расталкивая собравшихся зевак и поспешно нагибаясь. – Ой, касатики мои... вот люди добрые подали крупичицы на мою бедность... да и та растерялась... ох...

И она заплакала.

– Знать, много ты бедна, – сказал иронически парень, – что целый мешок наворочали тебе люди-то добрые... эки добрые, право; у них крупа-то, видно, что скорлупа... Да что ты пихаешься, тетенька? Небось не возьму, не съем, – продолжал он, удерживая одною рукою Архаровну, другою развертывая суму. – Ишь, ребята... эй, поглядите, какова нищенка... вона чего припасла... вон в кулечке говядинка... э! э!.. Эхва, штоф винца в тряпице... два! Братцы! два штофа и сала кусок, э! А вот и кулек с крупкою... жаль только, тетка, прорвался он у тебя маленько... ай да побирушка! Да полно, уж не живешь ли ты домком... Чай, на ярманке накупила по хозяйству... что ж, в гости-то позовешь нас, что ли?.. да полно, ну, чего пузыришься, ишь огрызается как! Говорят, не съедим, не тронем, поглядеть только хотелось...

И он обхватил ее еще крепче руками.

– Ишь, взаправду, чего набрала, – заметил старик, подбираясь к мешку, – а еще милостинку собираешь... эх ты... жидовина... да тебе, старой, эвтого и в год не съесть...

Все эти замечания, хохот, насмешки толпы, обступившей парня и нищенку, остервенили донельзя Архаровну; куда девались ее несчастный вид и обычное смирение! Она ругалась теперь на все бока, билась, скрежетала зубами и казалась настоящей ведьмой; разумеется, чем долее длилась эта сцена, тем сильнее и сильнее раздавался хохот, тем теснее становился кру-

жок зрителей... Наконец кто-то ринулся из толпы к парню и, ухватив его за плечи, крикнул что было силы:

– Эй, Петруха, мотри, укусит... пусти!..

Парень отскочил; толпа завывала еще громче, услышав страшные ругательства, которыми старуха начала осыпать ее. Наконец Архаровна встала; повязка сползла с головы ее, седые волосы рассыпались в беспорядке по лохмотьям; лицо ее, искривленное бешенством, стало вдруг так отвратительно, что некоторые отступили даже назад. Она подобрала, не оправляясь, все свои покупки в суму, взяла ее в обе руки, забросила с необыкновенною легкостью на плечи и, осыпав еще раз толпу проклятиями, поплелась твердым шагом к городу. Все это исполнено было так неожиданно, что все опешили от удивления; густой, оглушительный хохот раздался уже тогда в толпе, когда старуха совсем исчезла из виду...

Хмельной старичишка, приехавший с молодым парнем, готовился было начать рассказ о встрече своей с Антоном какому-то мельнику (что делал он без исключения всякий раз, как на сцену появлялось новое лицо), когда к кружку их подошел человек высокого роста, щегольски одетый; все в нем с первого разу показывало зажиточного фабричного мужика. На нем была розовая ситцевая рубаша, подпоясанная низехонько пестрым гарусным шнурком с привешенным к нему за ремешок медным гребнем; на плечах его наброшен был с невыразимою небрежностью длинный-предлинный синий кафтан со сборами и схватцами. Зеленые замшевые рукавицы, отороченные красной кожей, высокая шляпа, утыканная алыми цветами с кулича, и клетчатый бумажный платок, который тащил он по земле, довершали его наряд.

– Здравствуйте, братцы, – произнес он, приподымая легонько шляпу, – вот что, не здесь ли остановился троскинский мужичок Антон?.. Он сюда лошадь приехал продавать... лошаденка у него пегая, маленько с изьянцем... Обещался я его проведать, да никак не найду; по всему низовью прошел, ни на одном постоялом дворе нету...

– А какой он из виду? – спросил кто-то.

– Такой сухолядый, долговязый, лет ему под пятьдесят... с проседью...

– Э-э-э... – раздалось в толпе, – да уж не тот ли, братцы?..

– С кем я повстречался на дороге? – подхватил хмельной старичишка. – Говорю, мотри, Ванюха, мужик бежит... И то, говорит...

– Ну, брат, – живо перебил третий, – с ним неспорое дело попритчилось...

– Что ты? Какое дело?..

– Да зевуна дал: у него кобылку-то подтибрили, увели; нынче ночью и увели...

– Неужто правда? – вскричал фабричный, ударяя об полы руками.

– Не встать мне с этого места... спрости хошь у ребят, вот те Христос – правда...

– Да кто ж это? Как?..

– А бог их знает, увели, да и все тут!

– Где ж он сам-от?

– Разыскивать побежал лошадь... маненько, брат, и не захватил ты его...

– Я встрелся с ним на дороге, – начал было снова старичишка, – бежит, бежит, такой-то, право, мужик любопытный!..

– Эко дело! Э! – произнес с истинным участием фабричный, – да расскажите же, братцы, как беда-то случилась.

Все разом принялись кричать, рассказывать; хозяин перекричал, однако, других и с разными прибавлениями, оправдывавшими его кругом, рассказал парню обо всем случившемся.

– Ну, пропал! Совсем запропастил сердяга свою голову, – твердил тот, хмурясь и почесывая с досадою затылок, – теперь хоть смерть принять ему, все одно.

– А что, он тебе брат али сродственник какой?

– Нет, не сродственник: земляк; да больно жаль мне его, пуше брата... то есть вот как жаль!.. Мужик-то такой добрый, славный, смиренный!.. Его совсем, как есть, заест теперь управляющий... эка, право, горемычная его доля... да что толковать, совсем он пропал без лошади...

– Знамо, в крестьянском житье лошадь дело великое: есть она – ладно, нет – ну, вестимо, плохо.

– А какой мужик-то, – продолжал земляк Антона, садясь на лавочку и грустливо качая головою, – какой мужик! Ох, жаль мне его...

– А мы, брат, не посетуй, признаться, чаяли, вот и хозяин говорил, будто он человек недобрый какой... И господь знает, отчего это нам на разум пришло.

– Хоть верьте, хоть нет, я не про то его хвалю, что земляк он мне... да вот, братцы, спросите... – С этими словами указал он на мужика в красной александринской рубахе, подходившего к их кружку. – Знаешь, Пантюха, – крикнул он ему, когда тот мог слышать, – знаешь, беда какая... подь скорей сюда...

– Ну что?

– Ведь у нашего Антона лошадь-то увели...

– Ой ли?

– Ей-богу, правда, вот здесь и молодцы все знают... а я думал, брат, на радость привести тебя к землячку, эка беда!..

И он повторил Пантюхе все слышанное им от дворника.

– Ну, пропал, совсем пропал мужик, – произнес тот после некоторого молчания, – невесть что с ним станется. Никита заест его... эка, право, мужик-ат этот лихобойный, несчастный!..

– Да кто у вас Никита-то?

– Управляющий...

– Что ж ему заедать его? Ведь лошадь не господская, мужицкая...

– А то, что он послал его продавать ее... податей заплатит нечем...

– Э! Вот оно что... Стало, мужик добре бедный!..

– Какой бедный! Совсем разоренный; а все через него же, управляющего... этакого-то господь послал нам зверя...

– Драчлив, что ли?

– Такой-то колотырник, так-то дерется, у-у-у!.. Бяда! – отвечал Пантюха, махнув рукой и садясь на лавку подле товарища. – И не то чтобы за дело; за дело бы еще ничто, пушай себе; а то просто, здорово живешь, казнит нашего брата...

– Что и наш, верно, – перебил ярославец, молчавший все это время, – у нас вотчина-то большая, управляющий-то из немцев, такой же вот бядовый! ни богу, ни людям, ни нам, мужикам... смерть! Раз вот как-то иду я и, признаться, не заприметил, шапку ему не снял; ну хорошо; как подошел он ко мне да как хватит меня вот в эвто само место; ну хорошо; я ему и скажи в сердцах-то: Карл Иванович, за что, мол, ты дерешься? Как он, братцы, хлысть меня в другую; ну хорошо; я опять: бога, мол, не боишься ты, Карл Иваныч... Как почел таскать, так я инда и света не взидел, такой-то здоровенный, даром что немец... А спроси, за что бил, я чай, и сам не знает; такое, знать, уж у него сердце... ретив, больно ретив...

– Поди ж ты, иной барин не так спесив: мужичка жалеет...

– Эти-то, что из нашего брата, да еще из немцев – хуже, – заметил старик, – особливо, как господа дадут им волю, да сами не живут в вотчине; бяда! Того и смотри, начудят такого, что ввек поминать станешь... не из тучки, сказывали нам старики наши, гром гремит: из навозной кучки!.. Скажи, брат, на милость, за что ж управляющий-то ваш зло возымел такое на землячка... Антоном звать, что ли?

– Думает, он понес на него жалобу барину в Питер...

– А, вот что! Э! Ишь!.. – послышалось в толпе, которая все плотнее и плотнее окружала разговаривающих.

– А жалобу-то не он совсем и понес... коли на прямые денежки отрезать, по душе сказать. Она пошла от всего мира... он виновным только остался...

– Как так?

– Да вот как... Старый барин наш помер, тому лет пять будет; Никита и остался у нас управляющим. По настоящему делу ему не след было бы, да так уж старый барин пожелал... он, вишь, выдал за него при живности своей свою любовницу; ее-то он жаловал, она и упростила...

– Стало, любил ее барин?

– А так-то любил, что и сказать мудрено... у них, вишь, дочка была... она и теперь у матери, да только в загоне больно: отец, Никита-то, ее добре не любит... Ну, как остался он у нас так-то старшим после смерти барина, и пошел тяготить нас всех... и такая-то жисть стала, что, кажись, бежал бы лучше: при барине было нам так-то хорошо, знамо, попривыкли, а тут пошли побранки да побои, только и знаешь... а как разлюбуется... беда! Бьет, колотит, бывало, и баб и мужиков, обижательство всякое творит...

– Ну, а молодые-то господа?

– Молодые господа наши, сын да дочь, в Питере живут... мы их николи и в глаза-то не видали... вестимо, братцы, кабы они здесь жили или понавевывались, примерно, хошь на время, так ина была бы причина... у нас господа по отцу, добрые, хорошие, грех сказать, чтобы зла кому пожелали, дай им господь за то много лет здравствовать! Вот мой брат был в Питере и говорит: господа важные!.. Да где ж им самим до всего доходить? Вотчин у них много, и то сказать, всех не объездишь; живут они в Питенбурхе, – господа! Они рады бы, может статься, особливо барин, в чем помочь мужикам своим, да, вишь, от них все шито да крыто; им сказывают: то хорошо, другое хорошо, знатно, мол, жить вашим крестьянам, ну и ладно, они тому и верят, а господа хорошие, грех сказать; кабы они видали, примерно, что мужики в обиде живут от управляющего да нужду всяческу терпят, так, вестимо, того бы не пустили... Управляющему, знамо, какое до нас дело? Нешто мы его? Дана ему власть над нами, и творит, что ему задумается; норовит, как бы последнее оттянуть от мужичка... И добро бы, братцы, человек какой был, сам господин али какого дворянского роду, что ли; все бы, кажись, не так обидно терпеть, а то ведь сам такой же сермяжник, ходит только в барском кафтане да бороду бреет... а господа души, вишь, в нем не чают, они нашего мужицкого дела не разумеют, все сполняют, что ему только поволится... Ну, как почал он так-то обижать нас, видим, плохо; вот вся деревня наша и сговорилаь написать жалобу молодому барину в Питер; время было к самому разговенью... а сговорившись-то, и собрались так-то ночью в ригу, все до единого вросхмель, как теперь помнится, а рига такая-то большая, за барским садом стоит... был с нами и Антон...

При этом имени в толпе произошло движение, некоторые из слушателей наклонились еще ближе к рассказчику, и почти в одно и то же время со всех концов послышалось: «Ну, ну!»

– Он, нужно сказать, – продолжал фабричный, – изо всего нашего Троскина один только грамоте-то и знал... уж это всегда, коли грамоту написать али псалтырь почитать над покойником, его, бывало, и зовут... ну, его и засадили; пиши, говорят, да пиши; подложили бумагу, он и написал, спроворили дело... Ну хорошо, послали в Питер, никто и не пронюхал; зарок было бабам не сказывать, и дело-то, думали, споро, ан вышло не так...

У нашего управляющего, Никиты Федорыча, в Питере есть брат, такой же нравный; ходит он за барином; ну, вестимо, что говорить, сила! и другие-то люди из тамошних все ему сродни, заодно; как пришло наше письмо туда, известно, не прямо к барину: к людям сначала попало; швацар какой-то, сведали мы опосля, принял; барину он уж как-то там передает... у меня брат в Питирбурге-то у господ бывал... в одной, говорит, прихожей только-то народу, и-и-и... знамо, где уж тут дойти? Народ все проворный, не то что наш брат, деревенский; ну, братцы, как получили они себе письмо, должно быть, и смекнули, с кой сторонки... бумага али другое что не ладно было; а только догадались – возьми они его, утай от барина, да и доведайся, что в нем писано... а мы, вишь, писали, что управляющий и бьет-то нас беззаконно, и всякое

обижательство творит. Они видят, плохо пришло Никите, возьми да и отошли письмо-то назад к нему, да еще и свое приписали... Вот раз призывает нас так-то управляющий, этому года четыре будет, эвтак об утро, такой-то осерчалый, сердитый... а нам невдомек, и в мыслях не держали, чтой-то за дело... «Ах, мол, вы такие да сякие; я вас, говорит, по-свойски! Я ж вам задам! Кто, говорит, писал на меня жалобу?» да как закричит... так вот по закожью-то словно морозом проняло: знамо, не свой брат, поди-тка, сладь с ним; маненько мы поплошали тогда, сробели: ну, а как видим, дело-то больно плохо подступило, несдобровать, доконает!.. все в один голос Антона и назвали; своя-то шкура дороже; думали, тут, того и гляди, пропадешь за всех... Ну, вестимо, пришло Антону куды как жутко; уж чего-то он с ним, с сердешным, ни делал, как ни казнил, господь один знает. Был у Антона брат, Ермолай, женатый парень, того в первое рекрутство записал, а Антона на барщину да на барщину без отмены... Землица-то у него, как и у всех нас, плохая была; ну, вестимо, как рук не стало на нее, не осилил, и вовсе не пошло на ней родиться... тут, вишь, братнина семья на руках осталась, двое махоньких ребятенков, не в подмогу, а все в изъян да в изъян...

– Знамо, уж какая тут подмога – баба с ребятенками... – сказал, вздыхая, толстоватый ярославец: – Эка, мужик бедный, право...

– Это еще не все, братцы, – продолжал фабричный, постепенно воодушевляясь, – куды! Он в отместку ему и землю-то у него ту отнял...

– Как, и землю отнял, землю? – крикнули многие.

– Да, отнял и вырезал ему что ни на есть плошную во всей вотчине: суглинок... Хлеба у Антона с первого же года и не стало... а жил он, нужно сказать, прежде не хуже других... Была у него при покойном барине добрая «кулига»²¹ сена, и той не оставил ему Никита: жирно больно живешь, говорит... Видит Антон, нечем кормить скотинку, а нужда пришла, крайность; он и давай продавать, сердешный, то лошадку, то корову, то овцу... И что бы вы думали? и тут таки донял его Никита: не пускает его в город, да и полно; что ты станешь делать? Продавай, говорит, в деревне... Известно, какой уж тут торг, мужички же неимущие, денег нету, отдавать стал за бесценок. Пришло Антону день ото дня плоше да плоше; вестимо, мужичок не грибок: не растет под дождек... долго ли разорить его? Так-таки совсем и разорил его, довел дотолева, что не осталось у него в доме ни полщепочки, живет как бы день к вечеру, и голодную собаку нечем стало из-под лавки выманить...

– Знамо, какое уж тут житье! Проти жара и камень треснет.

– Я чай, сам-то уж не рад, что грамоте горазд.

– Эх! Бог правду-то видит, да, видно, не скоро ее сказывает! – заметил кто-то в свой черед.

– И такой-то человек этот Никита, – сказал фабричный, – что хоть бы раз забыл свою злобу. Вот нагдысь сказывал мне наш же мужик, приходит к нему нынешнюю весну Антон попросить осину – избенку поправить; уж он его корил, корил, все даже припомнил... опричь того, и осины не дал... Вестимо, одно в одно; до того дошел теперь Антон, что хошь ступай сумой трясина, то есть совсем, как есть, сгиб человек... Уж так-то, право, жаль мне его...

– Как же не жаль, – начал опять ярославец. – Охо-хо!.. Ты же, брат, говоришь, мужик-ат добрый...

– Уж такой-то добрый... простой... Бывало, как жил-то хорошо, всякого готов уважить, простыня-мужик... Через простоту свою да доброту и пострадал более... Добрая была душа...

– Ох, что-то теперь с ним станется?.. Ведь лошадь, ты, брат, говоришь, у него была последняя?..

– Последняя...

– Вот то-то... мерзлой роже да метель в глаза... Плохо ему... и вряд ему найти...

²¹ Кулига – частица, участок. (Прим. автора.)

– Где, где теперь найти! И господь знает, куды загнали лошадь...

– Право, кабы знал, пособил бы ему, ей-богу бы пособил, – сказал ярославец. – Послушай, брат хозяин, полно тебе жидоморничать; ну, что ты с него возьмешь, ей-богу, грех тебе будет, отдай ему полушубок... Э! Не видал, что ли, полушубка ты крестьянского?.. Слышишь, мужик бедный, неимущий... Право, отдай; этим, брат, не разживешься; пра, отдай!..

Оба фабричные и большая часть присутствующих изъявили то же мнение. Хозяин отмалчивался. Сухощавое лицо его выражало совершенное невнимание к тому, что говорили вокруг него; ни одна черта не обозначила малейшего внутреннего движения. Наконец, он медленно приподнялся с своего места, погладил бороду, произнес с озабоченным видом: «Пустите-ка, братцы...», подошел к воротам, окинул взором небо, которое начинало уже посылать крупные капли дождя, и, бросив полушубок Антона к себе на плечи, вошел в избу. Брань и ругательства сопровождали его.

Холодный осенний дождь – «забойный», как называют его поселяне, полил сильнее и сильнее. В одно мгновение вся окрестность задернулась непроницаемою его сетью и огласилась шумом потоков, которые со всех сторон покатались, клубясь и журча, к реке. Мужички поднялись с лавки и подошли к воротам.

– Вот тебе и ярманка, – сказал толстый мельник, выставляя свои сапоги под желоб. – Ишь какое господь посылает ненастье... Хорошо еще, что я не поторопился: того и гляди, муку бы вымочил...

– Ишь, дядя Трифон, погляди-ка, как народ-то бежит по горе, – произнес молодой парень, схватившись за бока, – вон, вон, по горе... Небось дождем-то знатно пронимает...

– Что за напасть, братцы, вот почитай месяц целый, как дождь льет бесперечь... Теперь, того и гляди, мороз, долго ли до беды, как раз озими обледенеют... вымочки пойдут...

– Да, погрешились, знать, перед господом богом: и прошлого года было куды с хлебами-те плохо, а как нынешний пойдет такой же, так и совсем бяда...

– Что-то теперь с землячком твоим станет, где-то он, сердешный? – сказал ярославец, подходя к одному из фабричных, прислонившемуся к завалинке. – Вот ему куды, чай, как плохо: ишь, чичер²², сиверца пошла какая...

– А что случилось, – перебил седой старикашка, проходя в это время мимо, – бежит себе да бежит, как когда я его встрел... так вот и дует, чай... Такой-то мужик любопытный...

– Пошел, старый, не тебя спрашивают... Эх, жаль мне его, уж так-то, право, жаль! – прибавил фабричный, обращаясь к ростовцу.

– И полушубка-то на нем нет... у хозяина, у подлой души, за долг оставил... Чай, так-то иззяб, сердешный...

– Как не прозябнуть! Ишь какая пошла погода, все хуже да хуже, индо в дрожь кинуло... И ветрено как стало... так с ног и ломит...

– Чай, промок?

– Как не промокнуть! Говорят, в одной рубахе пошел, аль не слышишь?..

– Ишь, кругом, братцы, как есть обложило, надолго, знать, будет дождь.

– Пойдемте в избу... и здесь донимать начинает... смерть... Ишь золко добре...

И толпа повалила греться.

²² Чичер – резкий ветер с дождем.

VIII

Никита Федорыч

Несмотря на раннюю пору и сильный морозный ветер, обращающий лужи в гололедь, троскинский управляющий, Никита Федорыч, был уже давно на ногах. Исполненный благодарности к молодым господам своим, которые так слепо доверяли его честности свое состояние, так безусловно поручали ему страшную обузу управления полуразоренного имения, он старался всеми силами если не вполне оправдать их доверие, то по крайней мере не употребить его во зло. И мог ли он в таком случае щадить свои силы и здоровье? Должен ли был потакать той гнусной лени, которая, бог весть за что и почему, досталась в удел русскому человеку?.. С обязанностью управляющего соединяется всегда столько хлопот, труда, попечений, ответственности!.. Нет, Никита Федорыч не мог действовать иначе. Если б даже находился он при других обстоятельствах, то есть не пользовался бы таким безграничным доверием господ или был поставлен судьбою сам на их место, и тогда, в этом можно смело ручаться, нимало не утратил бы ни благородного своего рвения, ни деятельности, ни той ничем не сокрушимой энергии, которая так резко обозначалась в его серых, блистающих глазах; он слишком глубоко сознавал всю важность такой должности, он как будто нарочно рожден был для нее.

Иметь под надзором несколько сот бедных крестьянских семейств, входить в мельчайшие их отношения, чутко чувствовать их потребности и нужды, обладать возможностью иногда словом или даже движением обращать их частные горести в радость, довольствоваться умеренно их трудами, всегда готовыми к услугам, и вместе с тем наблюдать за их благополучием, спокойствием, – словом, быть для них, бедных и безответных, отцом и благодетелем, – вот какая доля досталась Никите Федорычу! вот чему он так горячо мог сочувствовать и сердцем и головою. И, боже, как был счастлив троскинский управляющий! Как легко довелось ему стать в положение такого человека! Есть люди, которые с детства готовятся для какого-нибудь назначения, работают денно и ночью, истощают все силы и средства свои и все-таки не достигают того, чтобы обнаружить свои труды и мысли на деле, тогда как он... Стоило только Аннушке, теперешней супруге управляющего, замолвить слово старому барину – и уже Никита Федорыч стоит лицом к лицу с своей задушевной целью и действует. Впрочем, сказывают, все это случилось перед самою кончиною барина.

Итак, Никита Федорыч, несмотря на раннюю пору и стужу, был уже на ногах. Он успел побывать на скотном дворе, заглянул в клеть, где стояли три тучные коровы, принадлежавшие супруге его, Анне Андреевне, – посмотрел, достаточно ли у них месива, погладил их, – потом прикрикнул на старую скотницу Феклу, хлопотавшую подле тощих барских телок, жевавших по какому-то странному вкусу, им только свойственному, отлежалую солому. Далее заглянул он в ригу, где несколько мужиков обмолачивали господскую рожь. Исполнив это, Никита Федорыч направился к собственному своему «огородишку», как называл он его, то есть огромному пространству отлично удобренной и обработанной земли, на котором виднелись в изобилии яблони, груши, лен, ульи и где репа, морковь, лук и капуста терпели крайнюю обиду, ибо служили только жалким украшением. Тут он совсем захопотался с мужиками, которые окутывали ему на зиму яблони и обносили огород плотным забором и канавой. «Экой проклятый народ, – твердил он, размахивая толстыми своими руками, – лентяй на лентяе; только вот и на уме, как бы отхватать скорее свои нивы, завалиться на печку да дрыхнуть без просыпу... до чужого дела ему и нуждушки нет... бестия народ, лентяй народ, плут народ!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.